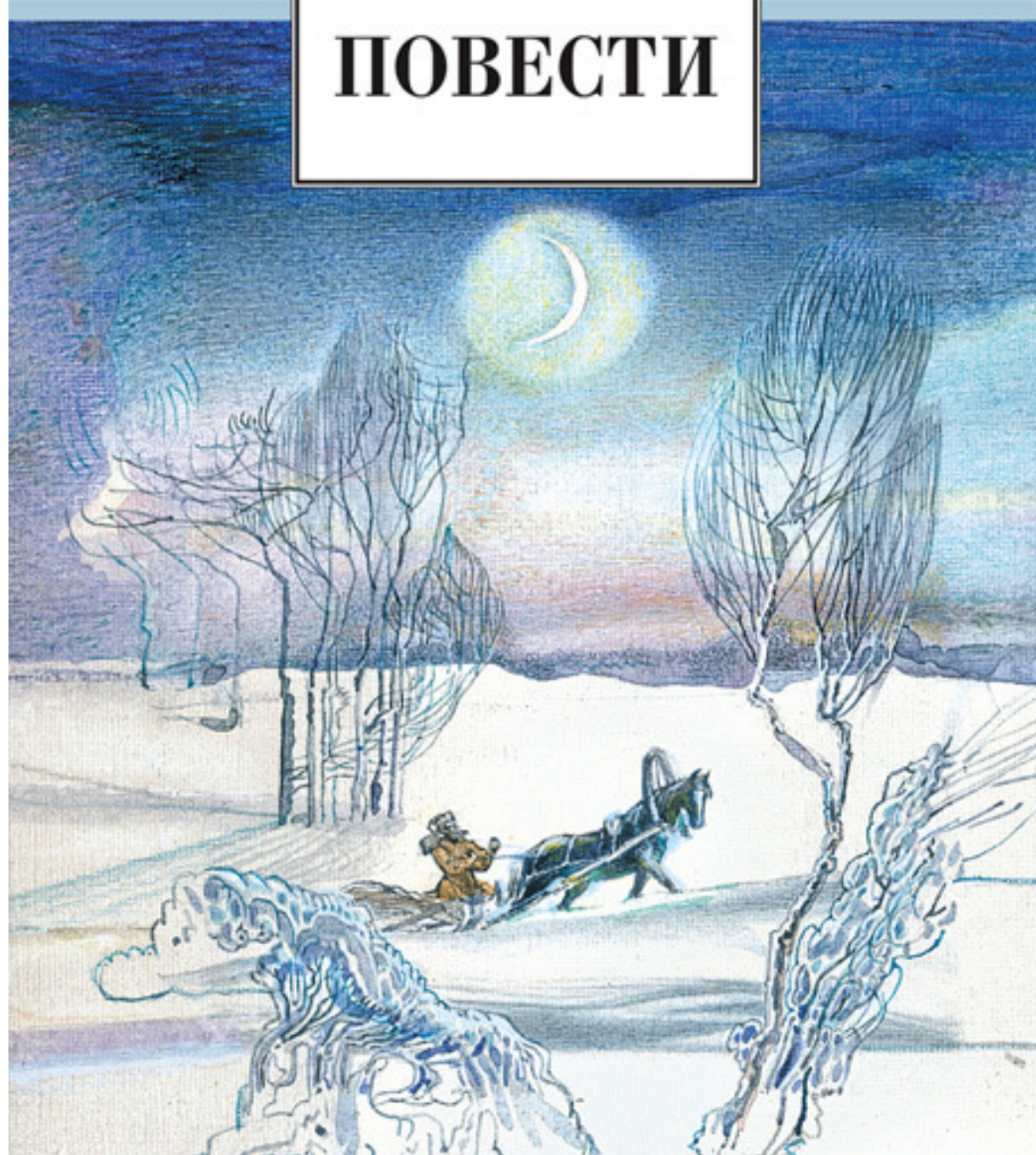


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Василий Белов

ПОВЕСТИ



Школьная библиотека (Детская литература)

Василий Белов

Повести

Издательство «Детская литература»

1998, 1999

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Белов В. И.

Повести / В. И. Белов — Издательство «Детская литература»,
1998, 1999 — (Школьная библиотека (Детская литература))

ISBN 978-5-08-006616-0

В сборник произведений В. И. Белова вошли повести «Привычное дело» и «Плотницкие рассказы», в которых ярко раскрывается самобытный русский характер.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-08-006616-0

© Белов В. И., 1998, 1999
© Издательство «Детская
литература», 1998, 1999

Содержание

Истина и жизнь	7
Привычное дело	19
Глава первая	20
1. Прямым ходом	20
2. Сваты	23
3. Союз земли и воды	26
4. Горячая любовь	29
Глава вторая	34
1. Детки	34
2. Бабкины сказки	36
3. Утро Ивана Африкановича	41
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Василий Иванович Белов

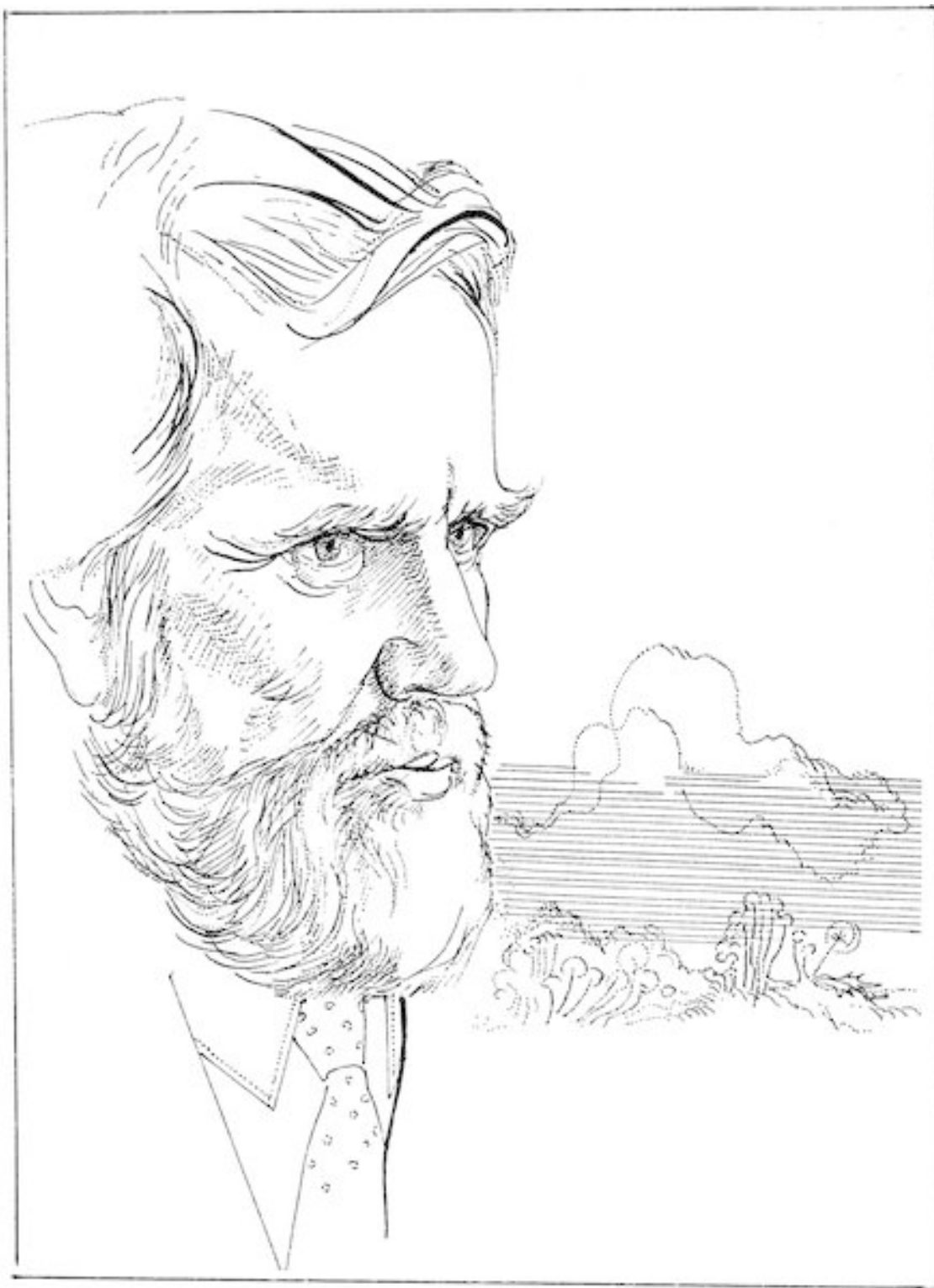
Повести

© Издательство «Детская литература». Оформление серии, 2005

© В. И. Белов. Текст, 1998

© И. Стрелкова. Вступительная статья, 1998

© Л. Бирюков. Иллюстрации, 1998



Белов

Истина и жизнь

Завершилось очередное столетие, и наконец-то собралась вся целиком у нас дома, в России, русская литература XX века. Исчезла пограничная черта, проведенная по отметке «1917 год» и отделявшая *дореволюционную* литературу от *советской*. Исчезло навязанное противопоставление писателей, оставшихся после революции *на родине*, и писателей, оказавшихся *в эмиграции*. Исчезло также и деление на *официальную* литературу, издававшуюся в СССР в условиях политической цензуры, и *диссидентскую*, публиковавшуюся за рубежом, нередко на условиях тоже идеологических.

В XX веке Россия на собственном историческом опыте убедилась, что, как бы ни разделяли писателей их политические убеждения, а также время и расстояние, национальная литература остается единой. И в этой единой литературе все книги и все писательские имена оказываются на своем подобающем месте, включая и те произведения, которые пришли к читателю спустя годы после того, как были написаны. Они возвращены и сегодняшним читателям, и тому времени, когда создавались. В этом отношении примечательно включение в круг современного чтения церковных писателей, прежде не издававшихся, и одновременно с ними памятников литературы Древней Руси, пребывавших в забвении.

Единство русской литературы XX века (со всеми ее противоречиями) можно считать драгоценным достоянием новых (и будущих) поколений. Иной круг чтения, чем у прежних поколений. Не такая, как еще совсем недавно, школьная программа по литературе. И самое, быть может, главное заключается в том, что гораздо ярче и яснее делается для новых поколений мера таланта. Как бы ни менялся социальный строй и кто бы ни пытался по-своему (и в своих политических целях) односторонне изобразить панораму русской литературы XX века и столь же односторонне определить ее вершины, остается неизменной мера постижения *истины и жизни* в качестве самой главной для художника. И продолжается непредсказуемый читательский – в поколениях – отбор любимых книг, остаются традиции нравственно-культурного предания нации.

Какое место в русской литературе XX века, а точнее, во второй его половине занимает Василий Белов? Современный литературный авторитет писателя делает подобный вопрос уместным. Но в поисках ответа, конечно, надо будет в предисловии к вошедшим в эту книгу двум повестям познакомить читателя и с другими произведениями Василия Белова.

В 1966 году Василий Белов, мало кому тогда известный, неожиданно-негаданно оказался автором *литературного манифеста*, обозначившего новое явление в русской литературе. Именно «оказался», сам на то не рассчитывая. Потому что опубликовал Белов не манифест, а повесть, ту, которая и открывает эту книгу, – «Привычное дело». Причем дал повести как бы оправдательный (хотя, может, и лукавый) подзаголовок: «Из прошлого одной семьи». Кстати, подзаголовок этот при дальнейших публикациях исчез совершенно незаметно.

Журнал «Север», в котором была опубликована повесть «Привычное дело», не принадлежал к столичной ведущей группе журналов, вокруг которых и шли в 60-е годы литературные дискуссии. С скромный провинциальный журнал, издающийся в Петрозаводске. Но вот поди ж ты! Повесть «Привычное дело» немедленно обрела самую широкую известность. И более того, эта повесть была воспринята не только как литературный манифест. О ней заговорили как о значительном общественном явлении. Впрочем, такова традиция русской литературы, таково ее уникальное свойство, известное школьникам еще по курсу русской литературы XIX века. Кстати, оно хорошо известно и на Западе, причем не только литературоведам. Ведь писал же в своих мемуарах американский историк и публицист Г. Солсбери, что русская литература может больше дать сведений о состоянии своей страны, чем все стратеги и аналитики-советологи. В

наше время можно услышать и прочесть, что теперь писатели утратили свое былое влияние на общественную жизнь и вообще нам нужна *другая литература*, без ненужных обязанностей учителя жизни. Однако возможно, что изменившееся положение литературы в жизни народа, отсутствие книг, о которых ведутся бурные споры, следует отнести к явлению временному. Сегодня не до повестей и романов, но в будущем, когда жизнь наладится, в Россию вернется и эта наша традиция. А если она так и не вернется, это станет подтверждением, насколько масштабные перемены происходят сейчас в умах и сердцах.

Как здесь уже говорилось, литературное произведение принадлежит прежде всего своему времени. Поэтому всегда интересно заглянуть в прошлое: как читали это произведение современники, что их волновало и что осталось незамеченным. Есть писатели, которые умеют схватить и передать поверхностные приметы своего времени, и это нравится читателю, но такая книга обычно недолговечна. А остаются в литературе книги, в которых отражены глубинные течения современной жизни, показана их историческая сущность, а не временная, злободневная.

Понятие «шестидесятники», употребляемое сейчас, когда речь идет о литературе 60-х годов XX века, не совсем точно, поскольку относит к этому движению только тех, кто придерживался, условно говоря, западнической позиции (как раз за это «шестидесятников» сейчас и попрекают). Меж тем 60-е годы следует рассматривать гораздо шире. Тогда же в русской литературе заявило о себе направление, получившее наименование «деревенская проза» – в противопоставление «городской», западнической. Значительно позднее, но тоже в порядке противопоставления «деревенщиков» стали считать продолжателями русских славянофилов XIX века.

Федор Абрамов, Виктор Астафьев, Василий Белов, Валентин Распутин, Владимир Солоухин, Василий Шукшин... Это и есть «деревенщики», устремления которых, по мнению литературной критики 60-х годов, и выразил с наибольшей ясностью Василий Белов в «Привычном деле». Отсюда и формулировка «литературный манифест», родившаяся в критических дискуссиях, а не в среде самих «деревенщиков».

По тем критическим атакам, которые были предприняты против повести Белова, можно представить себе, что в 60-е годы считалось *современным, прогрессивным* – какие сюжеты, какие герои. Белова упрекали в идеализации патриархального, уходящего деревенского быта. Где писатель нашел такую отсталую, такую заброшенную деревню?! Всюду сейчас технический прогресс, тракторы и комбайны, животноводческие комплексы. Характерен для того времени искренний возглас одного из критиков: «Иван Африканович в качестве образца для подражания?! Нет уж, увольте!» Другой критик, увлеченный идеями научно-технической революции, сравнивал Ивана Африкановича с героями книг, повествующих о жизни научных институтов, и язвительно спрашивал: можно ли себе представить Ивана Африкановича, управляющего синхрофазотроном? В литературном обиходе 60-х годов этот синхрофазотрон представлялся верхом интеллектуальности. Критики, конечно, видели, что Белов превосходно нарисовал своего Ивана Африкановича. И вообще умеет «рисовать словом». Но, увы, Белов несовременный, отставший от времени писатель. Так что и его «манифест» зовет не вперед, а в прошлое.

Пройдет двадцать лет после первой публикации «Привычного дела», и Белов напишет роман об одичании, которое несет человечеству бездумное поклонение прогрессу, идеализация будущего в ущерб настоящему. Но об этом романе разговор дальше. И о герое романа, талантливом ученом Дмитрие Андреевиче Медведеве, осознавшем бесплодность рационалистического ума в сравнении с возможностями сердца и круто переломившем свою жизнь в поисках высшей духовной цели. Скажу только, что у большого писателя непременно образуется построенный его трудами особый мир, в котором все герои соотношены друг с другом. Так с Ивана Африкановича начиналась важная для Белова проблема слепого разума и зрячего сердца.

Где отыскал писатель отсталую деревню Ивана Африкановича среди сплошь современной сельской действительности? Этот вопрос требует уточнения: в чем заключается собственно «отсталость»? Василий Белов родился в 1932 году в деревне Тимонихе Вологодской области, там и сейчас он подолгу живет и работает. У него гостят его русские друзья, приезжают иностранные гости и неизменно восторгаются и маленькой деревней, и ее окрестностями. Жителей в Тимонихе осталось совсем немного, однако деревенскую церковь Белов отстроил заново. Причем известно, что сам выполнял плотницкие работы, категорически отказав телевидению в съемках такой колоритной детали его сельской жизни, полагая это ненужным. Так вот, может ли называться отсталой деревня, в которой родился писатель с мировой славой? И может ли считаться примитивной деревенская жизнь, воспоминания о которой могут ворваться в итальянские впечатления: «Разглядывая с высоты коричневые балканские разветвления и голубые адриатические полотнища, я вновь переживаю восторг детства, снова живу чем-то подобным, таким же голубым, но не морским, а небесным, таким же золотистым, только не таким объяснимым. Восторг исчезает, когда его начинают объяснять. Я могу лишь раствориться в нем, в этом весеннем утре, еще перечислить то, что его составляет, да ведь даже и не перечислишь всего. Врезалась в сердечную память молодая, еще не седая от горя мама, веселый отец, братья и сестры, непостижимо большое синее небо, поющие вокруг петухи, крики сверстников, синие омота нашей речки, трава, вкусные пироги, новая красная ластиковая рубашка. Сотни, тысячи других ощущений... И все это объединялось одним беспричинным восторгом».

Посмотрите, как естественно сливается у Белова эта картина детства, летний день в северной русской деревне с голубизной итальянского неба, с полотнищами (русское слово!) Адриатического моря. Да, чувствуется, что Белов, как и многие русские прозаики, начинал свой путь в литературу с поэзии, да и сейчас пишет стихи. Но в этих впечатлениях об Италии, объединенных одним беспричинным восторгом, присутствует в глубине и важнейшее для Белова значение *своего дома в России*, значение той жизни, о которой он уполномочен рассказать всему миру, уполномочен всеми теми, кого он знает и любит с детства.

Собственно в этом и заключалась суть «манифеста». В 1960-е годы в литературе сложилось представление, что современный герой должен быть всегда в движении, всегда в пути. Он живет на колесах, все время что-то осваивает, покоряет. И мышление его всеохватно, глобального масштаба. Отсюда и укоры в адрес Ивана Африкановича, о которых шла речь выше. И распространенное, вполне дружественное мнение о Белове: он *потому и не современен, что живет у себя дома*.

Эту ситуацию проанализировал уже в 70-х годах критик Вадим Кожин. Он напомнил, что как раз сто лет назад русская литературная критика считала Льва Толстого заведомо далеким от современности художником. Истинно современными писателями, умеющими изобразить текущую жизнь, указать современникам на насущные проблемы, считались у критиков второй половины XIX века ныне полузабытые Боборыкин, Шеллер-Михайлов, Омулевский... В укор Льву Толстому ставилось и то, что он пишет о русском дворянстве, которое уже уходит с авансцены русской жизни, а не о разночинной интеллигенции, выдвигающей из своей среды новых героев литературы. Но вот отошел XIX век, свершились войны и революции, и через сто лет стало совершенно ясно, что именно Лев Толстой дал глубочайшее и масштабнейшее художественное воплощение *современной* русской жизни, а писатели, казавшиеся когда-то «истинно современными», сумели зафиксировать лишь поверхностные и субъективно отобранные приметы своего времени. Причем пример Льва Толстого показывает, что именно «уходящее сословие» на грани своего исторического «ухода» с наибольшей глубиной и остротой выявляет и свою собственную природу, и свое значение и место в бытии нации, народа во всей его цельности, а тем самым и современную сущность целого народа.

В России XX века судьба «уходящего сословия» выпала крестьянству, теоретики уже не сомневались, что в предвидимом будущем традиционного земледельца заменят другие люди, далекие от крестьянского образа жизни. Этот исторический «уход» корневого и по-своему родовитого сословия совершался насильственно и, к сожалению, с одобрения прогрессивно мыслящей общественности, в том числе и на Западе. Посмотрите, как легко пишет о «раскрестьянивании» России знаменитый английский писатель Бернард Шоу, посетивший СССР в 1931 году: «Русская деревня так ужасна, что можно понять коммунистов, которые сжигают ее, как только уговаривают жителей вступить в колхоз и жить по-человечески». Наверное, Бернарду Шоу об этом рассказывали сопровождавшие его представители советской интеллигенции, хотя на самом деле при всех жестокостях раскулачивания и коллективизации до сжигания деревень не доходило – иначе где бы жить колхозникам!

Справедливость утверждения, что «уходящее сословие» на грани своего исторического «ухода» с наибольшей остротой выявляет свою собственную природу и сущность целого народа, подкрепляется убедительными доказательствами. Вопреки теории о главенстве в советском обществе рабочего класса, в русской литературе советского периода не было ярких произведений из жизни рабочих. Зато как значительна крестьянская тема! Это и творчество Сергея Есенина, и «Тихий Дон», «Поднятая целина» Шолохова, и Твардовский, которым восхищался в эмиграции Бунин, и «деревенская проза», и явившийся тогда же, в 60-х, Николай Рубцов... Само время выдвинуло перед литературой задачу *сохранить, как в самом надежном хранилище, все те культурные и нравственные ценности, которые были созданы русским крестьянством на протяжении его многовековой истории*. Сохранить крестьянскую философию, сохранить крестьянскую речь, запечатлеть человеческие типы...

Открываешь первую страницу повести «Привычное дело» и слышишь чей-то голос: «Парме-ен? Это где у меня Парменко-то? А вот он, Парменко. Замерз? Замерз, парень, замерз...» Мало-помалу голос обретает свою интонацию, свой характер. Какой-то Иван Африканович развязывает замерзшие вожжи, и становится ясно, что Пармен, Пармеша, может в ответ только встряхивать головой.

Не в лучшем виде предстает перед читателем при первом знакомстве Иван Африканович Дрынов. Ведь о чем он беседует с мерином, запряженным в дровни? О том, что выпил крепко с приятелем своим Мишкой. А начнет вспоминать, сколько у него детей, так всех перепутает. Зато помнит Пармена маленьким жеребенком и помнит его матку Пуговку. Она-то послушна была в оглоблях, а вот Парменка, когда семенной горох возили, угодил в канаву. И нынче не домой доставил Ивана Африкановича, а завез в соседнюю деревню.

Смешной в общем-то мужик. Комический персонаж. Вез в дровнях товар для магазина и поуродовал самовары. Взялся сватать Мишку к Нюшке из соседней деревни, так она их обоих выгнала... Это лишь после читатель увидит, что один из малолетних сыновей Ивана Африкановича нацепил на рубашонку боевой орден Славы. А затем и Иван Африканович к случаю вспомнит войну: как ходил в разведку и приволокли тогда разведчики пленного немца. Оказывается, у него есть и орден Красной Звезды, а именно эти ордена – Славы и Красной Звезды – считались самыми солдатскими и доставались действительно за доблесть и отвагу. Так что Иван Африканович по ходу повести вроде бы и повыше становится, и пошире в плечах. Герой войны, самой страшной за всю историю России, да и за всю человеческую историю. А наша армия и в эту войну – как и в первую германскую – была в основном крестьянской. Война тоже крестьянская тема. На родине Белова в Тимонихе установлен железный лист с именами тех, кто не вернулся с войны. Не вернулся и отец Белова. А Иван Африканович... «Пришел с войны – живого места нет, нога хромала, так и плясал с хромой ногой. Научился. Может, из-за этого и нога на поправку пошла, что плясал, давал ей развитие». Кстати, тогда же Иван Африканович и Библию, доставшуюся ему по наследству, наверное, старинную, променял на гармонь, чтобы

играть для своей Катерины, но не успел даже на басах научиться тринкать – описали за недоимки и продали, а Библия у соседа не заинтересовала тех, кто собирал с деревни недоимки.

Как-то само собой сливаются воедино смешное и трагическое, лирика и эпос, малое и большое. И все это – в одном человеке, в одном характере. Не плоское изображение на листе, не одностороннее, а объемное, живое, меняющееся, поворачивающееся и так и сяк. Конечно, не образец для подражания. Критика 60-х годов судила об Иване Африкановиче, исходя из привычных тогда представлений о *положительном* герое современности.

В наше время, когда деревня вновь разорена и брошена на произвол судьбы, Иван Африканович может показаться более современным персонажем, чем тридцать лет назад. С коровой-кормилицей, потеря которой значила полный крах домашней экономики. С вечной заботой о том, как накопить корове сена на всю зиму. С вечным непониманием, чего же нужно от крестьянина властям: Москва по радио (а теперь и по телевидению) вторгается в каждую избу, а как докричаться из деревни до Москвы? И наконец, в России пьянство всегда было знаком самых плохих времен. Однако какими все-таки словами, с помощью каких привычных нам понятий можно определить характер Ивана Африкановича Дрынова? Что он за человек?

Вопрос этот обращен в повести «Привычное дело» в большей степени к возможностям сердца читателя, чем к возможностям рационалистического ума, – в том значении, которое вкладывал в эту антитезу другой герой Белова, ученый Медведев из романа «Все впереди».

Как-то не сразу приходит понимание, что «Привычное дело» – повесть о любви, которую пронесли через всю жизнь Иван Африканович и его Катерина. По убеждению Ивана Африкановича, самое главное в жизни – любовь, семья, дети. Увезли Катерину в больницу, и он себе места не находит, ссутулился, глубже стала тройная морщина на лбу. И сон приснился, будто сидят они вдвоем у любимого родничка, а он еще военной фуражкой поит Катерину серебряной водой: «Она что-то говорила ему, что-то спрашивала, но Иван Африканович не смог запомнить, что говорила, он помнил только ясное, острое ощущение близости Катерины, ощущение ее и его жалости и любви друг к другу...»

А какое глубокое потрясение испытывает Иван Африканович, похоронив Катерину. И когда он спустя дни находит в лесу висевший на ветке женский платок. Запах Катерининых волос не могли выдуть лесные ветры. Не этой ли находкой можно объяснить, почему он, всегда ходивший по лесу уверенно, как по деревенской улице, заблудился и чуть не погиб? И кончается повесть осенним днем, когда Иван Африканович срывает в огороде несколько гроздьев красной рябины и несет Катерине на кладбище: «Худо мне без тебя, вздоху нет, Катя. Уж так худо, думал, за тобой следом. А вот оклемался... А твой голос помню. И всю тебя, Катерина, так помню, что... Да. Ты, значит, за робят не думай ничего. Поднимутся. Вон уж самый младший, Ванюшка-то, слова говорит... такой парень толковый и глазами весь в тебя. Я уж... да. Это, буду к тебе ходить-то, а ты меня и жди иногда... Катя... Ты, Катя, где есть-то? Милая, светлая моя, мне-то... Мне-то чего... Ну... что теперече... вон рябины тебе принес... Катя, голубушка...»

Иван Африканович весь задрожал. И никто не видел, как горе пластало его на похолодевшей, не обросшей травой земле, – никто этого не видел».

Две особенности сочетаются в писателе, знаменующем собой эпоху в жизни национальной литературы: сильно выраженный местный колорит и неосознанный всеобщий смысл произведения. Эта мысль принадлежит Томасу Стирнсу Элиоту, американскому писателю, Нобелевскому лауреату (1888–1965). Поясняя ее, Элиот писал: «Всеобщность никогда не появится в произведении, если писатель пишет не о том, что знает вдоль и поперек». Писателем местного колорита был Марк Твен, но для его читателей во всем мире Миссисипи – не только американская река с живущими на ее берегах американцами, это «река в *ее высшем значении*». Из русской литературы Элиот приводил в пример Достоевского и Чехова. Читая их, «мы оказы-

ваемся, по моим наблюдениям, заинтересованными прежде всего причудливым складом души русских людей; но потом мы начинаем понимать, что перед нами всего лишь необычный способ выражения тех мыслей и чувств, которые мы все испытываем и знаем».

В современной русской литературе мысли и чувства русского человека, а значит, и общечеловеческие мысли и чувства, выражены и в донском колорите Шолохова, и в сибирском Распутина и Шукшина, и в колорите Русского Севера у Белова. В 1960-е годы, кроме понимания, что значит «писатель у себя дома», явилось в качестве литературного термина «обращение к истокам». В русской жизни это было глубинным народным явлением: непостижимая тоска по своей «малой родине». Вот и в «Привычном деле» брат Катерины Митька и в Северодвинске поработал, в секретном городе, где делают подводные лодки, и моряком сделался, ходит в заграничье, но, дождавшись отпуска, едет не на курорт, а домой, в свою «отсталую» деревню. Вообще летом в деревне полно таких отпускников. Началось это в 1960-е годы и было вызвано не материальными причинами, как в наши дни. Чувством вины, наверное. Но не только. Чего-то людям стало не хватать в романтической жизни на колесах, воспетой в 1960-х годах и поэтами, и авторами «молодежных повестей» (был и такой литературный термин).

Проводит свой отпуск в родной деревне и Константин Платонович Зорин, герой повести «Плотницкие рассказы». У Белова Костя Зорин – герой многих рассказов, написанных после этой повести, впервые опубликованной в 1968 году в самом популярном тогда журнале «Новый мир». Зорин по профессии строитель, прораб, задержанный на работе начальством, а дома женой, где-то подхватившей идеи «воспитания по доктору Споку» (так и озаглавлен один из рассказов) и применяющей эту модную методику не только к дочери Ляльке, но и к мужу. В цикле рассказов о Косте Зорине «деревенщик» Белов впервые затрагивает проблемы городской жизни, прежде всего проблемы семейные, которые станут главными в романе «Всё впереди».

В «Плотницких рассказах» Белов сделал Костю Зорина героем-повествователем, все события излагаются от его «я». Можно строить догадки, что писатель отдал герою-повествователю какие-то случаи из собственного детства и юности, например поход за справкой, но, в общем-то, это типичный путь в «большую жизнь» для деревенского подростка. Все уезжали. И девчонки тоже. Как например, Анфея, которая в городе зовется Нелли. Она, как и Костя, проводит отпуск в родной деревне, согласна откликаться на Анфею – и все же: «В деревне разве это жизнь, ежели и выйти некуда, и поговорить не с кем». А для Кости самая радость – разговоры, плотницкие рассказы, красочные узоры деревенской речи. Вся повесть построена на рассказах о своей жизни Олеши Смолина и Авинера Козонкова, на разговорах с деревенскими старухами, да и речи на колхозном собрании не менее колоритны. Заглянув в Толковый словарь Владимира Даля, можно найти у него все эти краски северного русского языка с пометкой «влг.» (вологодское): *обряжуха* – порядок, *опушенный дом* – обшитый тесом (за что и придирались к Олеше Смолину, чуть не зачислив в кулаки), *натодельно* – нарочно (в наше время и вместо «нарочно» скажут «специально», именно так поясняет это слово в повести Костя Зорин, которому оно очень нравится). Но обратите внимание, как и без перетолкования на расхожую, обесцветившуюся, привычную нам речь могут быть понятными сразу эти *старинные*, однако *новые* для многих современных читателей слова. Ведь они предстают перед нами в такой естественной для них среде, на такой живой и детально прописанной картине деревенского житья-бытья, деревенских работ, деревенского отдыха, деревенских шуток. Не «устар.» – не устаревшие, не ушедшие, нужные людям слова.

Из русской классики нам известно, как обогащает язык писателя выразительное слово, почерпнутое из нелитературной, народной речи. У Толстого в «Хаджи-Мурате» говорится в самом начале: «Я шел наизволок по пыльной черноземной дороге». *Наизволок* – значит вверх по некрутому подъему. То есть не круто в гору. Пологий скат. И у Шолохова в «Тихом Доне»: «Гетманский шлях тянулся наизволок». Казалось бы, короче и понятнее о некрутом подъеме

не скажешь. Однако в современном словаре русского языка можно прочесть, что «наизволок» – «обл.», областное слово. И тут есть своя логика. Как-то не получается, что городской проспект или автомагистраль протянулись наизволок. Другой пейзаж, другой темп жизни.

Художественное мастерство Белова и должно соответствовать избранной им крестьянской теме. И здесь он, конечно, выступает как продолжатель традиции русской классики в новых условиях, когда крестьянство – об этом шла речь выше – с наибольшей глубиной и остротой выразило не только свою собственную природу и свое значение в бытии нации, но и во многом сущность всего народа. Причем *обновление русского литературного языка*, которое в литературоведении связывают с именами Белова, Астафьева, Распутина и других писателей этого ряда, объясняется не только обращением к «истокам». Русскую народную речь, ее отдельные ручейки, имеющие свои места обитания, перемешала, перебаламутила война, да и после войны продолжалась неслыханная по масштабам миграция населения – из села в город, из центральной России на восток, в Сибирь. И обратите внимание, как гибок литературный стиль Белова, как чуток его слух к слову. В городских рассказах и повестях, в путевых очерках у него совсем другая «словесная походка» (это определение стиля придумал Сергей Есенин).

А как по-разному звучат в «Плотницких рассказах» голоса Олеши Смолина и Авинера Козонкова! Живут в одной деревне, ровесники, а начнут вспоминать одни и те же эпизоды из прошлого – непохожи. Схватятся в споре: у Олеши – мягкая насмешка, у Авинера – злость. Олеша на жизнь не в обиде, хотя была она у него нелегкой и во многих его бедах повинен Авинер, выслуживавшийся перед властью. Зато самому Авинеру представляется, что его заслуги перед советской властью не оценены по достоинству. И в деревне к обоим разное отношение. Одно дело Олеша с его верой, что жить надо по совести: «Без совести жить – не жить. Только друг дружку переколоти». Олеша всю жизнь честно трудился, он и теперь всю зиму на ферму выходил. Другое дело Авинер, сроду отлынивавший от настоящей работы, у него даже справка хранится из больницы, что он вывихнул ногу и по этому случаю освобожден от тяжелых работ. Бумажная душа, все замечочки писал о недостатках и соседей «брал на карандаш». Поэтому свои, деревенские, склонны называть его не Авинером (местная переделка имеющегося в святцах Авенира), а полностью, словно начальника, – Авинером Павловичем. Зато Олеша – это Олеша, совсем по-другому выговаривается. Ласково и уважительно. Такой вот особый слух деревенских жителей к слову.

Насколько современны для нас эти два человеческих типа, два характера? Олеша и Авинер Павлович, наверное, не дожили до перестройки. Но представим себе, если бы дожили. В таком случае Олеша в наши дни работал бы, как всегда, в доме и на ферме, баньку кому-нибудь подправлял или строил заново. Ну а Авинера Павловича мы бы и сегодня увидели в рядах яростных борцов. Он боролся бы за роспуск колхозов и брал бы несогласных с ним соседей «на карандаш» с таким же энтузиазмом, с каким помогал советской власти раскулачивать «мироедов» и создавать колхоз.

Это очень важная для Белова тема, он обращается к ней и в публицистических статьях. При любом устройстве человеческого общества, на любом уровне текущей жизни не перестает проявляться в самых разных вариантах вечное противоборство силы *созидающей* и силы *разрушающей*. Какая сила переберет? Белов убежден, что люди, лишённые творческой созидательной силы, способны лишь к противостоянию и драке. Этим объясняются, по Белову, и крайности в искусстве. *«Подлинное, настоящее искусство чем полнее, тем свободнее от крайностей. Крайность тут одна – непостижимость»*, – говорит Белов.

А Костя Зорин – вполне в духе нашего времени, а не далеких 60-х годов – решает установить между Олешей и Авинером Павловичем «общественное согласие». Им надо сесть и разобраться, кто прав, кто виноват. В открытую! «Это была явная провокация. Но я уже завелся и не мог остановиться, взывал к прогрессу и сыпал историческими примерами». Что ж... Разговор в открытую оказался тоже с историческими примерами. Как «раскрестьянивали» Россию

– в лицах и эпизодах. Трудолюбивого мужика, бывшего красноармейца, воевавшего за советскую власть против Колчака, за что записали в кулаки? За то, что у него Авинер насчитал два или три самовара! А сапожника, обувавшего деревню, за что в кулаки? А директивы кто спускал, чтобы по озими пасти коров? На все эти вопросы Олеша у Авинера Павловича давно есть ответ: «А ты как был классовый враг, так и остался». Однако у самого-то Авинера Павловича каков итог жизни? Его ближний начальник Табаков теперь в Москве персональную пенсию получает, а Авинер Павлович так ничего и не нажил. Как говорит Олеша, Авинер Павлович из тех бедняков, которые работать не любили: «...оне и сейчас бедняки вроде тебя, ежели на должность не вышли». Вот тут-то Козонков не стерпел попрека бедностью и кинулся на Олешу. Драку Костя смог разнять только с помощью подросшей жены Олеша. И кого же она посчитала виновником драки? Одного Олешу...

Десять лет спустя после «Плотницких рассказов» Белов опубликовал, быть может, самую удивительную свою книгу: «Лад. Очерки о народной эстетике» (1979). Или, как уточняет писатель в конце книги, «о *северной* народной эстетике». Это целый свод правил. Как сеяли и как собирали урожай, как строили дома и как пряли пряжу. Об играх, о ярмарках, об искусстве народного слова. То есть обо всем народном *ладе*, устройстве жизни, ритме жизни. О русском понимании красоты, о трудолюбии, нравственности, народной философии... Когда в России начали бороться после революции против христианского мирозерцания, то эта борьба была направлена и против мирозерцания народного, против добра, правды и сострадания, которые являются понятиями и религиозными и национальными. Вопрос в том, насколько удалась эта борьба.

«Стихия народной жизни необъятна и ни с чем не соизмерима, – пишет Белов в предисловии от автора к «Ладу». – Постичь ее до конца никому не удавалось и, будем надеяться, никогда не удастся».

Эти слова могут послужить ключом к пониманию финала повести «Плотницкие рассказы». Костя Зорин всю ночь не спал, испытывая отвращение ко всему на свете, в том числе и к самому себе. Вдобавок он еще и простужен. Зачем ему понадобилось втравливать стариков в спор? Теперь и в деревню не поездишь в отпуск. А утром он идет к Олеше и видит там Козонкова. Сидят и мирно беседуют, как старые ветераны. Оказывается, они уже удивлялись, чего Костя не идет, хотели послать за ним Олешину жену. Простуженному Косте заваривают чай с малиной, и жизнь в его глазах становится хорошей.

Белову и нужно, чтобы никому и никогда не удалось постичь, почему на другой день после драки Олеша и Авинер сидят и мирно беседуют. Это и есть *непостижимость*, о которой писатель говорил применительно к произведению искусства. Или «тайна», без которой, по Достоевскому, немислимо истинно художественное произведение.

В 1972 году в журнале «Север» были опубликованы первые главы нового произведения Белова «Кануны» в сокращенном журнальном варианте. Писатель приступил к работе, которая займет у него годы: «Кануны», имеющие подзаголовок «Хроника 20-х годов», и их продолжение «Год великого перелома», часть первая, затем часть вторая, в которой разворачиваются события весны 1930 года. Читатели сразу отметили, что в «Канунах», в первой части, в списке бедняков, вызванных на собрание бедноты Ольховской волости, есть и Африкан Дрынов, мужик из дальней деревни. Выслушав новые указания, поступившие из Вологодского губкома, Африкан Дрынов возмущается: опять инструкция временная, начальство временное, указания насчет хлебозаготовок тоже обозначены как временные. А надо бы понадежнее. Африкан Дрынов бедняк, но он против того, чтобы кредиты выдавать только бедноте. Он за общую справедливость. «Ведь передеремся сплошь, перепазгаемся». На коленях у Африкана Дрынова замызганная буденовка, значит, бывший красноармеец. И сомнений нет, что в «Канунах» действие происходит там же, где и в «Привычном деле», и Африкан Дрынов – отец

Ивана Африкановича, но дальше в «Хронике 20-х годов» мы его уже не встретим. Главный герой «Канунов» и «Года великого го перелома» – молодой парень из Шибанихи Павел Пачин, который потом женится на своей любимой Вере Роговой, войдет в ее семью и будет уже зваться Павлом Роговым.

Мы знакомимся с Павлом в тот момент его жизни, когда он объявляет о своем решении строить мельницу. Причем не единоличную (не «кулацкую»). Павел мечтает о мельнице общественной, созданной на паях с другими крестьянами. Жизнь начала налаживаться, перед Павлом пример процветающей сельской маслоартели, именуемой также животноводческим товариществом. Теперь Шибанихе по силам поставить свою ветряную мельницу и не ездить молотить к соседям. Павлу по молодости никакие дурные предчувствия не ведомы, но люди постарше жмутся, чего-то недоговаривают, опасаются, что мельница не ко времени. А современный читатель, изучавший русскую историю XX века, совершенно точно знает: не надо, Павел! Не затевай ты эту мельницу. Именно за нее и пострадаешь. Раскулачат, арестуют, семью погубишь!.. Но не докричаться из нашего времени ни в какое прошлое.

«Хроника 20-х годов» ведет читателя из Шибанихи в Ольховку, из Вологды в Москву, в кабинеты Сталина, Калинина, Кагановича. Споры на самом верху, разговоры в крестьянских избах. И повсюду что-то неясное, пугающее своей неясностью, неведением, что же будет завтра. И наверху, и внизу.

Белов пишет народную трагедию, задаваясь среди других мучительных вопросов и таким: что могли понимать в происходящем вокруг них и с ними люди, жившие в те страшные времена, русские крестьяне, русские интеллигенты? Перед читателем «Канунов» и «Года великого перелома» проходят попытки самых разных людей разобраться хотя бы в логике наблюдаемых ими событий и действий власти. Член партии председатель волисполкома Лузин поддерживает, как ему кажется, правильный, ленинский план кооперации в деревне – и это для него добром не кончится. Дворянин Прозоров арестован за антисоветскую пропаганду, а он всего лишь пересказал крестьянам статью из «Комсомольской правды» о перегибщиках и тем самым помешал активисту Сопронову конфисковать у Павла Рогова мешки с ячменем. По логике Прозорова ему как представителю класса «эксплуататоров», «классовому врагу», допустим, и положено сидеть в тюрьме. Но вместе с ним в одной камере оказался простой крестьянин, представитель трудового народа, ради счастья которого и совершалась революция. И туда же может попасть сельский активист за перегибы. Прозоров приходит к выводу, что большевики говорят одно, а делают другое. Конечно, террор гарантирует им всеобщий страх и повиновение, но если начать разбираться, против каких слоев населения проводится «революционный террор», получается полный абсурд. Однако, как начинает догадываться Прозоров, кто-то все же дирижирует этой свистопляской.

Хаос как метод управления страной, как государственная система... Так Белов пытается ответить на вопрос, почему народ в те годы растерялся, не смог сопротивляться. Или действовал, как старики из Шибанихи, которые подают жалобу на бесчинства Сопронова и каравай с расшитым полотенцем уполномоченному Меерсону, чьи приказы Сопронов исполняет. Нет, не зря в те годы все было временным: все правила, все требования. Этим, как мы помним, и возмущался бедняк Африкан Дрынов. Очередная новая директива, отменяющая прежнюю, – и вот уже арестован ненавидимый всей деревней Сопронов, его уводят под конвоем со связанными руками. Конечно, Павел Рогов, увидев это, может поверить, что в жизни наступило облегчение. И только самые недоверчивые будут чесать затылки: «Надолго ли? Одно в этом деле голове круженье». Правы оказались недоверчивые. В третьей части «Года великого перелома» Игнаха Сопронов возвращается в Шибаниху. В свое время, когда Игнаху еще не сажали в тюрьму, а только исключили из партии, этого исключенного послали организовывать колхозы: организуешь – получишь обратно партийный билет. Так что и теперь Сопронов без дела не останется.

В третьей и четвертой частях «Года великого перелома», опубликованных в журнале «Наш современник» в 1994 году, все еще длится тридцатый год. Белов пишет в финале четвертой части: «По Сталину, год великого перелома начинался в двадцать восьмом. На самом деле не закончился он ни в двадцать девятом, ни в тридцать первом...» Писатель считает свою крестьянскую эпопею не законченной.

И есть там персонаж, на которого стоит обратить внимание современному читателю. Жизнелюбивый и беззаботный Микуленок, Николай Николаевич Микулин, председатель сельсовета. Казалось бы, вот кому не сносить головы при таком хаосе. То он казенную печать потеряет, то поручение насчет проработки в Шибанихе тезисов ЦК и контртезисов оппозиции не выполнит. Но снимают с работы дельного Лузина, арестовывают за перегибы Сопронова, а Микуленок не только не пропал – он сделался районным начальником, заврайколхозсоюзом, ходит на службу «в пиджаке с партбилетом» и опять ни за что не отвечает, ни над чем всерьез не задумывается. Узнаёте знакомый современный тип деятеля? Время хаоса, время абсурда формирует очень нужный организаторам абсурда персонаж. Такие люди принимают обман всей душой, потому что им нравится быть обманутыми. Спокойнее жить, не надо ни бороться, ни думать. Пожалуй, до «Канунов» и «Года великого перелома» в русской литературе еще не встречался такой человеческий тип или, вернее сказать, такая мутация человеческой личности под воздействием сил абсурда.

Мы прощаемся с Павлом Роговым в Печорской губе, куда пароход доставил в переполненных трюмах «живые дрова истории», ссыльных, раскулаченных. Изнуренные люди куда-то ползут и бредут от травянистого берега. И ползет вместе с ними восьмилетняя девочка. «Дуня не знала, куда и кто ее влечет, но ползла, двигалась. Трава перед глазами ее закончилась, высокие ивы тоже. Она ползла теперь между каких-то кочей. Ее обессиленные ручки не чувствовали болотную влагу. И захотелось Дуне лечь и уснуть в этой мшистой перине, но перед глазами ее вдруг загорелась желтая капелька вроде брошки. Дуня губами дотянулась до этой янтарной брошки. «Брошка-морошка, брошка-морошка», – все запело внутри восьми летней Дуни. Животворная мягкость еще не растаяла у нее во рту, а вторая ягодка, намного крупнее первой, сама так и просилась в рот, потом третья, а после третьей девочка перестала считать. Она ползла и ползла, как птичка ловила ртом янтарные крупные ягоды, и силы возвращались к Дуне, такие силы, что она уже пробовала встать на коленки...»

Потом Дуня соберет горсточку ягод и, преодолевая неудержимое желание съесть эти желтые мягкие комочки, понесет ягоды отцу, братьям.

Не много отыщется в современной прозе страниц, исполненных такой трагической силы...

Почему ворвался между «Канунами» и «Годом великого перелома» роман Белова «Всё впереди»? Ответом на этот вопрос может стать время публикации романа. 1985 год. Снова начинается в нашей истории что-то непонятное, кого-то обнадеживающее, кого-то пугающее. А каковы итоги прожитых семи десятилетий? Герой романа Медведев размышляет о самом тревожном симптоме возможного развала государства – о распаде связей между людьми. Медведев – коренной москвич, в его роду были и бояре, и купцы, и священники, и крестьяне. Но вот от его ученика Жени Грузя, рано погибшего, подававшего большие надежды, тянется ниточка все в те же места, на Русский Север. Он из украинской крестьянской семьи, из тех ссыльных украинцев, о судьбе которых рассказано в «Году великого перелома».

В романе «Всё впереди» Грузь гибнет по своей вине. Он нарушил приказ своего научного руководителя Медведева и в одиночку занялся наладкой сверхсекретной установки. Но Медведев не способен выкручиваться, а тем более перекладывать вину на погибшего. Для него судебный приговор – искупление, без которого дальнейшая жизнь была бы невозможна. После гибели Грузя, после долгих лет тюрьмы происходит духовное преображение Медведева, о чем

уже шла речь в начале предисловия. Медведеву открывается бессцельность веры в технический прогресс, которая стала чем-то вроде суррогата религии. В 1985 году такое отношение к высокочному прогрессу не могло не вызвать негативных откликов о романе «Всё впереди» – и возмущенных, и иронических. Но через семь лет, в 1992 году, на Конференции ООН по окружающей среде и развитию заговорили о кризисе всего мирового технического прогресса, превращающегося в угрозу всему живому на Земле. Писатель оказался пророчеством.

«Всё впереди» – политический роман. Здесь самое интересное – размышления Медведева, записки Жени Грузя. Непрочность современной семьи – это государственная проблема. По убеждению Медведева, «чтобы уничтожить какой-нибудь народ, вовсе не обязательно забрасывать его водородными бомбами. Достаточно посорить детей с родителями, женщин противопоставить мужчинам». В поисках истины Медведев анализирует отношение современного человека к будущему. Эти поиски и дали название роману. *Всё впереди* – это и иллюзии отдельного человека, и надежды людского множества, и способ обмана, применяемый в политике.

Медведев в романе Белова размышляет о неправомерности общепринятого отношения к жизни: настоящего, по сути, не существует, настоящее лишь краткий миг между прошлым и будущим. Это отношение звучит и в известных строках Валерия Брюсова: «...не живи настоящим: только грядущее – область поэта». Меж тем идеализация будущего гораздо опаснее, чем идеализация прошлого. Идеализируя будущее, человек ежеминутно отрекается от своего настоящего, а значит, от самого себя.

...В повести «Привычное дело» бабка Евстоля рассказывает внукам их любимую пошехонскую сказку. Пошехонцы ржи не сеяли, одну репу. Крапиву постным маслом поливали, чтобы у домов не росла.

Географически Пошехонье располагается на реке Шексне (Шехоне), ныне оказавшейся на дне Рыбинского моря. Литературное Пошехонье куда шире. Это и знак отсталости, глухоты, может прозвучать с презрением. Кому как! Потому что Пошехонье – исток классики русского юмора, особый склад ума, своя манера подмечать и выставлять людские недостатки, веселая удаль, умение подшутить и над самим собой. Мы это пошехонство видели в характере Ивана Африкановича. «Со смехом многое понимается», – сказал Василий Шукшин, в смехе которого много общего с Беловым. Вообще в юморе всегда ярко выражены национальные черты. Смешон Иван-дурак в русских сказках, но Пришвин сравнивал его с Дон Кихотом, над которым ведь тоже потешались.

У Белова есть повесть «Целуются зори». История поездки трех современных пошехонцев в город передана с самыми невыгодными для них подробностями, они то и дело попадают в дурацкое положение. Причем рассказано-то все с их слов. Но вот уж где смех помогает подметить такие детали современной городской жизни, до которых никогда не добираются популярные писатели-юмористы! Эту разницу между понятиями смешного определил Гоголь. Он писал о смехе: «Возвратим смеху его настоящее значение! Отнимем его у тех, которые обратили его в легкомысленное светское кощунство над всем, не разбирая ни хорошего, ни дурного!»

Вологодские бухтины Белова были опубликованы год спустя после «Плотничьих рассказов» и воспринимались тогдашним читателем как продолжение: сначала плотничьи рассказы, а потом бухтины печника. Полностью Белов дал такое название: «Бухтины вологодские, завиральные, в шести темах. Достоверно записаны автором со слов печника Кузьмы Ивановича Барахвостова, ныне колхозного пенсионера, в присутствии его жены Виринеи и без нее». Вот послушайте, как привирает Барахвостов. Было дело, выручил он свой колхоз, спас от волков. Выступил на собрании и предложил установить для волков подкормку: резать по четыре овцы в день и выдавать волкам бесплатно. Собрание проголосовало. И больше никаких хлопот, волки

успокоились. В свои бухтины Барахвостов умудряется уложить и бытовые темы, и исторические события, и сатиру на современные нравы. В 90-х годах Белов написал продолжение «Бухтин вологодских, завиральных».

Кроме Белова-юмориста, Белова-сатирика, есть еще и Белов – детский писатель, автор сказок, рассказов о животных, многие из которых включены в школьные хрестоматии для чтения. В театрах России идут пьесы Белова «Над светлой водой», «Сцены районной жизни», «Бессмертный Кощей», «Семейный праздник»... Такое стремление работать в самых разных жанрах – в традиции русской литературы.

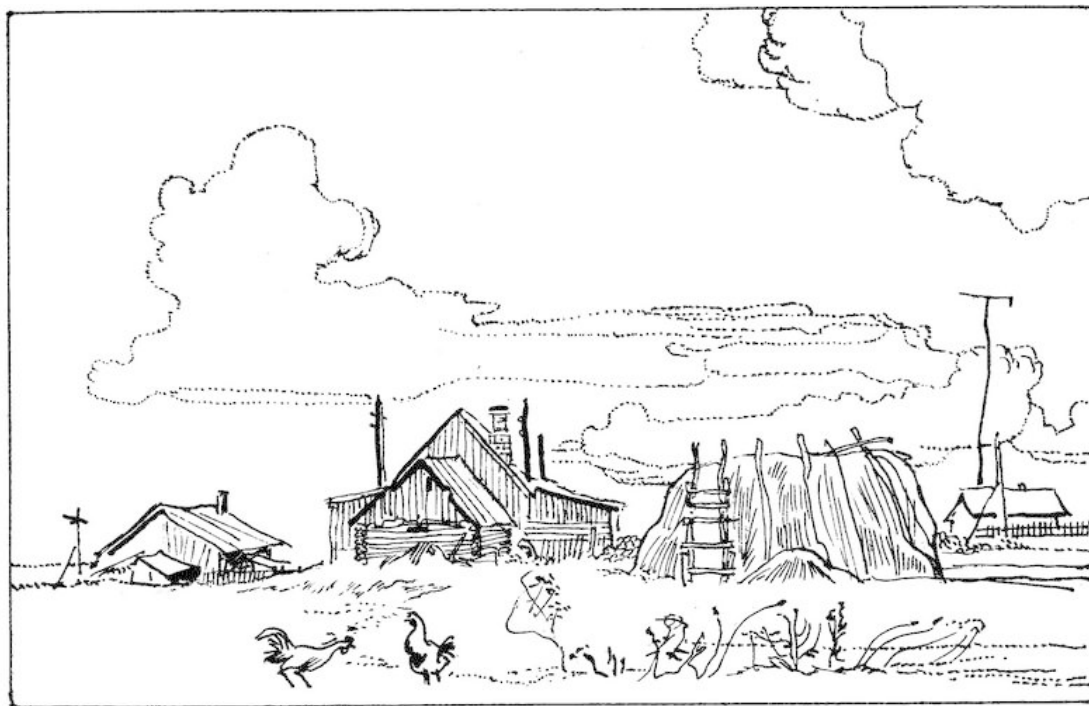
В одном из интервью Василия Ивановича Белова спросили, что самое главное в работе писателя. Он ответил теми же словами, что и Олеша Смолин в своих рассуждениях о жизни: «Без совести никакой литературы нет». Писатель верит в нравственные силы России: «Нравственный закон универсален, и он один на всех. Величайшее чудо состоит в том, что человек, живший по уму и по совести в незапамятные времена, скоро находит путь и к нашему сердцу поверх любых барьеров. В преемственности нравственной традиции заключается неубывающий духовный капитал человечества, его уникальное достоинство. Но в отдельном человеке нравственность создается каждый раз наново, и никто не пройдет за нас путь, назначенный нам».

Ирина Стрелкова

Привычное дело Повесть



Глава первая



1. Прямым ходом

– Парме-ен? Это где у меня Парменко-то? А вот он, Парменко. Замерз? Замерз, парень, замерз. Дурачок ты, Парменко. Молчит у меня Парменко. Вот, ну-ко мы домой поедем. Хочешь домой-то? Пармен ты, Пармен...

Иван Африканович еле развязал замерзшие вожжи.

– Ты вот стоял? Стоял. Ждал Ивана Африкановича? Ждал, скажи. А Иван Африканович чего делал? А я, Пармеша, маленько выпил, выпил, друг мой, ты уж меня не осуди. Да, не осуди, значит. А что, разве русскому человеку и выпить нельзя? Нет, ты скажи, можно выпить русскому человеку? Особенно ежели он сперва весь до кишков на ветру промерз, после проголодался до самых костей? Ну, мы, значит, и выпили по мерзавчику. Да. А Мишка мне говорит: «Чего уж, Иван Африканович, от одной только в ноздре разъело. Давай, – говорит, – вторичную». Все мы, Парменушко, под сельпом ходим, ты уж меня не ругай. Да, милой, не ругай. А ведь с какого места все дело пошло? А пошло, Пармеша, с сегодняшнего утра, когда мы с тобой посуду пустую сдавать повезли. Нагрузили да и повезли. Мне продавщица грит: «Свези, Иван Африканович, посуду, а обратно товару привезешь. Только, – грит, – накладную-то не потеряй». А когда это Дрынов накладную терял? Не терял Иван Африканович накладную. «Вон, – говорю, – Пармен не даст мне соврать, не терял накладную». Свезли мы с тобой посуду? Свезли! Сдали мы ее, курву? Сдали! Сдали и весь товар в наличности получили! Так это почему нам с тобой выпить нельзя? Можно нам выпить, ей-богу, можно. Ты, значит, у сельпа стоишь, у высокого-то крылечка, а мы с Мишкой. Мишка. Этот Мишка всем Мишкам Мишка. Я те говорю. Дело привычное. «Давай, – говорит, – Иван Африканович, на спор, не я буду, – грит, – ежели с хлебом все вино из блюда не выхлебаю». Я говорю: «Какой ты, Мишка, шельма. Ты ведь, – говорю, – шельма! Ну кто вино с хлебом ложкой хлебает? Ведь это, – говорю, – не шти какие-либо, не суп с курой, чтобы его, вино-то, ложкой, как тюрю, хлебать». – «А вот, – говорит, – давай на спор». – «Давай!» Меня, Пармеша, этот секрет разобрал. «На что, Мишка

меня спрашивает, на что, спрашивает, на спор идешь?» Я и говорю, что ежели выхлебаешь не торопясь, так ставлю еще одну белоглазую-то, а ежели проиграешь, дак с тебя. Ну, взял он у сторожихи блюдо. Хлеба крошил с полблюда. «Лей, – говорит. – Большое блюдо-то, малированное». Ну я и ухнул всю бутылку белого в это блюдо. Начальство, какое тут изладилось, заготовители эти и сам председатель сельпа Василей Трифонович глядит, затихли, значит. И что бы ты, Парменушка, сказал, ежели этот пес, этот Мишка, всю эту крошенину ложкой выхлебал? Хлебают да крикают, хлебают да крикают. Выхлебал, дьявол, да еще и ложку досуха облизал. Ну, правда, только хотел он закурить, газетку у меня оторвал, рожу-то и повело у него; видно, его и прижало тутотка. Выскочил из-за стола да на улицу. Вышибло его, шельму, из избы-то. Крылечко-то у сельпа высокое, как он рыгнет с крылечка-то! Ну да ты тут у крылечка и стоял, ты его видел, мазурика. Заходит он обратно, в лице-то кровинушки нет, а хохотнул! У нас, значит, с ним конфликт. Все мненья пополам разделились: кто говорит, что я проспорил, а кто говорит, что Мишка слово не выдержал. А Василей-то Трифонович, председатель сельпа-то, встал на мою сторону да и говорит: «Твоя взяла, Иван Африканович. Потому как выхлепать-то он, конечно, выхлебал, а в нутре-то не удержал». Я Мишке говорю: «Ладно, шут с тобой! Давай пополам купим. Чтобы никому не обидно было». Чего? Ты что, Пармен? Чего встал-то? А-а, ну давай, давай. Я тоже с тобой побрызгаю за компанию. За компанию-то оно, Пармеша, всегда... Тпрры! Пармен? Кому говорят? Тпрры! Ты, значит, меня не дождал, пошел? Я тебя сейчас вожжами-то. Тпрры! Будешь ты знать Ивана Африкановича! Ишь ты! Ну вот и стой полюдски, где у меня, эти... пуговицы-то... Да, кх, хм.

Нам недолго погулять,
А только до девятого.
Оставайся, дорогая,
Наживай богатого.

Вот теперь поехали, поехали с орехами, поскакали с колпаками...

Иван Африканович надел рукавицы и опять уселся на груженные сельповским товаром дровни. Мерин без понукания в бок сдернул прикипающие к снегу полозья, он споро волок тяжелый воз, изредка фыркал и прядал ушами, слушая хозяина.

– Да, брат Парменко. Вон оно как дело-то у нас с Мишкой обернулось. Ведь налелькались. Налелькались. Пошел он в клуб к девкам, девок-то тут у сельпа побольше, какая в пекарне, какая на почте, вот он и пошел к девкам-то. И девки все экие толстопятые, хорошие, не то что у нас в деревне, у нас-то все разъехались. Весь первый сорт по замужьям разобрали, остался один второй да третий. Дело привычное. Я говорю: «Поехали, Миша, домой», – нет, к девкам пошел. Ну, дело понятное, мы тоже, Пармеша, были молоденькие, это уж теперь-то нам все сроки вышли и соки вытекли, дело привычное, да... А как думаешь, Парменко, попадет нам от бабы-то? Попадет, ей-богу, попадет, это уж точно! Ну, ее бабье дело такое, ей тоже надо скидку делать, бабе-то, скидку, Парменко. Ведь у ее робетешек-то сколько? А у ее их, этих клиентов-то, чур будь, ей тоже не мед, бабе-то, ведь их восемь... Али девять? Нет, Пармен, вроде восемь... А с этим, который... Ну, этот, что... которой в брюхе-то... Девять? Аль восемь? Хм... Значит, так: Анатошка у меня второй, Танька первая. Васька за Анатошкой был, первого мая родила, как сейчас помню, за Васькой Катюшка, после Катюшки Мишка. После, значит, Мишка. П-п-погоди, а Гришку куда? Гришку-то я и забыл, он-то за кем? Васька за Анатошкой, первого мая родился, за Васькой Гришка, после Гришки... Вот ведь, унеси леший, сколько накопил! Мишка, значит, за Катюшкой, за Мишкой Володя еще, да и Маруся, эта меньшуха, родилась в межумолоки... А перед Катюшкой-то кто был? Значит, так, Анатошка у меня второй, Танька первая, Васька первого мая родился, Гришка... А, шут с ним, все вырастут!

Нам недолго погулять...
А только до девятого...

Тпрры, стой, Парменко, тут нам потихоньку надо, как бы не окувыркнуться.

Иван Африканович слез на дорогу. Он с такой серьезностью поддерживал воз и дергал за вожжи, что мерин как-то даже снисходительно, нарочно для Ивана Африкановича замедлил ход. Уж кому-кому, а Пармену-то была хорошо известна все эта дорога...

– Ну, вот так, давай, вроде проехали мостик-то, – приговаривал ездовой. – Нам бы только с тобой накладную-то не ухайдакать, накладную-то... А ведь я тебя, Парменко, еще вот каким помню. Ведь ты тогда еще у матки титьку сосал, вот я тебя каким помню. И матку твою помню, звали Пуговкой, до того мала была да кругла, сгонили покойную головушку на колбасу, матку-то. Я, бывало, на ней за сеном ездил в Масленицу, на старые стожья, дорога-то была вся через пень-колоду, дак она, матка-то твоя, как ящерка с возом-то, где ползком, где скоком, до того послушна была в оглоблях. Не то что ты теперешной. Ведь ты, дурак, и не пахивал, и в извозе дальше сельпа не еживал, ты ведь одно вино да начальство возишь, у тебя жизнь-то как у Христа за пазухой. Я ведь тебя еще каким помню? Ну, конечно дело, тебе тоже досталось. Помнишь, как семенной горох возили, а ты из оглобель-то вывернулся! Да как мы тебя, прохвоста, всем миром из канавы на ноги ставили? А ведь я тебя еще вот эконьким помню-то, – бывало, бежишь по мосту весь празднишной, дак копытка-ти у тебя так и брякают, так и брякают, и никакой-то заботушки у тебя тогда не было. А теперь что? Ну, возишь ты вина вдоволь, ну там кормят тебя, поят, а дальше что? Вот сдадут тебя тоже на колбасу, в любой момент могут, а ты что? Да ничего, пойдешь как миленькой. Вот ты говоришь, баба. Баба, она, конечно, баба и есть. Только у меня баба не такая, она и отряховку даст кому хошь. А мне ни-ни с пьяным. Пьяного она меня пальцем не тронет, потому что знает Ивана Африкановича, век прожили. Тут уж, ежели я выпил, мне встречь слова не говори и под руку не попадай, у меня рука кому хошь копоты нагонит. Верно я говорю, Пармен? То-то, это уж точно я говорю, это уж как в аптеке, нагоню копоты. Чево?

Нам недолго погулять,
А только до де...

Я говорю, что Дрынова хто зажмет? Нихто Дрынова не зажмет. Дрынов сам кого хошь зажмет. Куда? Это ты куда, дурак старый, воротишь-то? Ведь ты не на ту дорогу воротишь! Ведь мы с тобой век прожили, а ты, понимаешь, куда воротишь? Это тебе домой дорога-то, что ли? Это тебе дорога не домой, а на вырубку. Я тут сто раз ездил, а тебе... Что? Я тебе полягаюсь, я вот тебе полягаюсь! Ты дорогу лучше меня знаешь? Ты, прохвост, вожжей захотел? Нна! Нна, вот тебе, ежели так! Ступай куда велят, свой прынцип не отстаивай! Чего заоглядывался? Ну? То-то, дурак, иди куда велено!

Нам недолго погулять,
Бх, только до...

Иван Африканович отхлестал мерина и примирительно зевнул:

– Ишь ты, Парменко, как меня разморило-то. Мы с тобой сейчас домой прикатим, товар сдадим, самовар поставим. Распрягу я тебя либо бабе скажу, и пойдешь ты, дурачок, домой, в конюшню. Ведь ты дурак, Парменко? Вот и я говорю, что ты дурачок, хоть ты и умный мерин, а дурачок. Ничего-то в жизни не смыслишь. Ты вон свернуть хотел на другую дорогу, а я тебя восстановил. Восстановил я тебя на верную путь али не восстановил? То-то! А нам недолго погулять... Ты, дурак, чего опять остановился? Который раз останавливаешься. Ты домой не

хоть? Отведаешь у меня еще вожжей, ежели! Вон и деревню видно, сдадим мы товар, самовар поставим, нам теперь что, нам теперь всё вчера до обеда. Дурак ты, Парменко, дурак, тебе домой неохота. Вон и деревня рядом, вон и трактор Мишкин. Что? Какая это деревня-то? Вроде не наша деревня. Ну. Ей-богу, не та деревня. Вот и сельпо есть, а в нашей сельпа нет, это уж точно, а тут сельпо. Вон и крылечко высокое. Мы ведь, Парменко, вроде бы тут и товар грузили? Хм. Право слово, тут. Пармен ты, Пармен! Нет ведь у тебя толку-то, ишь куда ты меня завез. Вот ведь куда нас повело. Парме-ен? Ну, теперь мы с тобой домой поедem. Вот, вот заворачивай-ко, батюшко! Ведь я тебе еще каким помню-то? Ведь ты еще маткину титьку губами дергал... Мы с тобой ходко... К утру дома будем, как в аптеке... Теперь мы, Пармеша, прямым ходом. Да, это... Прямым... Дело привычное.

2. Сваты

Иван Африканович закурил, а мерин, не останавливаясь у сельповского крыльца, завернул обратно. Он трудолюбиво и податливо тащил груженные дровни с Иваном Африкановичем в придачу, поющим одну и ту же рекрутскую частушку.

Красная большая луна встала над лесом. Она катилась по еловым верхам, сопровождая одинокую, скрипящую завертками подводку.

Апрельский снег затвердел к ночи. В тишине ядрено и широко тянуло запахом натаявшей за день и ночью вымерзающей влаги.

Иван Африканович теперь молчал. Он трезвел и, будто засыпающий петух, клонил голову. Сперва ему было немножко стыдно перед Парменом за свою оплошность, но вскоре он как бы не нарочно забыл про эту вину, и все опять установилось на своих местах.

Мерин, чувствуя за спиной человека, топал и топал по затвердевшей дороге. Кончилось небольшое поле. До Сосновки, где была половина дороги, оставался еще небольшой лесок, встретивший подводку колдовской тишиной, но Иван Африканович даже не шевельнулся. Приступ словоохотливости как по команде сменился глубоким и молчаливым равнодушием. Сейчас Иван Африканович даже не думал, только дышал да слушал. Но и скрип завертки и фыркание мерина не задевали его сознания.

Из этого небытия его вывели чьи-то совсем близкие шаги. Кто-то его догонял, и он поехал, очнулся.

– Эй! – окликнул Иван Африканович. – Мишка, что ли?

Ну!

– А то чую, бежит кто-то. Что, видать, ночевать-то не оставили?

Мишка, сердитый, шмякнулся на дровни, мерин даже не остановился. Иван Африканович, ощущая собственную хитрость, оглядел парня. Мишка, нахлобучив ворот телогрейки, закуривал.

– Кого сегодня отхватил? – спросил Иван Африканович. – Не ту, что в сапожках-то ходит?

– А ну их всех на...

– Что эдак?

– «Зоотэхник в истэрике»! – передразнил Мишка кого-то. – Чик-брик, пык-мык! Дуры шпаклеванные. Видал я такую интеллигенцию!

– Не скажи, – трезво сказал Иван Африканович, – девки ядреные.

Оба долго молчали. Пожелтела и стала меньше высокая к полуночи луна, тихо дремали кустики, и скрипела завертка, топал и топал неустанный Пармен, а Иван Африканович, казалось, что-то сосредоточенно прикидывал. До Сосновки, небольшой деревеньки, что стояла на середине пути, оставалось полчаса езды. Иван Африканович спросил:

– Ты Нюшку-то сосновскую знаешь?

– Какую Нюшку?

– Да Нюшку-то...

– Нюшка, Нюшка... – Парень сплюнул и перевернулся на другой бок.

– Экой ты, право... – Иван Африканович покачал головой. – А ты забудь про этих ученых! Раз наш брат малограмотный, дак и нечего. Наплюнь, да и все. Дело привычное.

– Иван Африканович, а Иван Африканович? – вдруг обернулся Мишка. – А ведь у меня эта бутылка-то не распечатана.

– Да ну! Какая «эта»?

– Ну та, что ты мне проспорил-то. – Мишка вытащил бутылку из кармана штанов. – Вот мы сейчас обогреемся.

– Вроде бы из горлышка-то... неудобно перед народом, да и так. Может, не будем, Миша?

– Чего там неудобно! – Мишка уже распечатал посудину. – Ты вроде бы пряники грузил?

– Есть.

– Давай откроем ящик да возьмем двух на закуску.

– Нехорошо, парень.

– Да скажу завтра продавщице, чего боишься? – Мишка топором отодрал фанеру ящика, достал два пряника.

Выпили. Уже затихший было, но подновленный хмель сделал светлее апрельскую нехолодную ночь, вдруг и скрипящая заветка, и шаги мерина – все приобрело смысл и заявило о себе, и уже луна не казалась Ивану Африкановичу ехидной и равнодушной.

– Я тебе, Миша, так скажу. – Иван Африканович наскоро дожевывал пряник. – Ежели человек сердцем не злой, да люб, да работник, дак не хуже никакого и зоотехника либо там госстраха. Вот Нюшку возьми...

Мишка слушал. Иван Африканович, не зная, угодил ли парню своими словами, крикнул.

– Конечно дело, грамота тоже, это... не лишнее в девке. А и ты-то парень у нас не худой, чего говорить... Да. Это, значит... чего говорить...

Допили, и Мишка далеко в кусты бросил пустую посудину, спросил:

– Ты про какую Нюшку говорил? Про сосновскую?

– Ну! – обрадовался Иван Африканович. – Вот уж девка, и красивая, и работница. А ноги возьми, что вырублены. Она с моей бабой недавно на слете была, дак оне там по отрезу самолучшему отхватили. А этих грамот у нее – дак все стены завешаны.

– С бельмом.

– Чево?

– С бельмом, говорю, эта Нюшка.

– Ну и что? Тебе-то что это бельмо? Это бельмо и видно-то, только ежели глядеть спереди, а сбоку да ежели с левого, дак никакого бельма не видно. Грудина, а ноги-то, девка что баржа. Куда супротив Нюшки этим зоотехникам. Вон зоотехница-то пришла один раз на двор, а Куров поглядел да и говорит: «Добра девка, только ноги дома оставила». Нету, значит, ног-то почти. Как палочки. А Нюшка вон идет, дак глядеть-то любо-дорого. Все простенки в грамотах да в гербовых листах, и в дому одна с маткой. А вот хошь, сейчас привернем? Хоть сейчас и сосватаю!

– А что, думаешь, сгузаю? – сказал Мишка.

– Всурьез тебе говорю.

– И я всурьез!

– Мишк! Да я... да мы... мы с тобой, знаешь? Ты Ивана Африкановича знаешь! Да мы, мы... Пармен?!

Иван Африканович ударил по мерину вожжами, раз, другой. Пармен нехотя обернулся, но дело было уже под горку, дровни покатались. Мерину поневоле пришлось перейти на рысь, и через минуту возбужденные дружки по-молодецки, с частушкой вкатили в Сосновку:

Дорогая, не гадай,
Полюбила – не кидай.
Держись старого ума —
Люби мазурика меня.

Сосновка спала запредельным сном. Ни одна собака не взлаяла при появлении подводы: дома, редкие, словно хуторки, мерцали лунными окошками. Иван Африканович наскоро поставил мерина у поленницы, бросил с воза последнее сенцо.

– Ты, Миша, вот что, уж ты ложись на меня, сам-то больше помалкивай. Мне это дело не в первый раз, я Степановну, матку-то, давно знаю, как-никак тетка двоюродная. Не больно мы пьяные-то?

– Надо бы еще разжиться...

– Ч-ч! Молчок покаместь!.. Степановна? – Иван Африканович осторожно постучал по воротам. – А Степановна?

В избе вскоре вздули огонь. Потом кто-то вышел в сени, отпер ворота.

– Кто это полуночник? Только на печь легла. – Старуха в фуфайке и в валенках открыла ворота. – Вроде Иван Африканович.

– Здорово, Степановна! – Иван Африканович бодрился, стучал нога об ногу.

– Проходи-ко, Африканович, куда ездил-то? А это кто с тобой, не Михайло?

– Он, он.

В избе и в самом деле было красно от почетных грамот и дипломов, горела лампа, большая беленая печь и заборка, оклеенная обоями, разделяли избу на две части. Колено самоварной трубы висело у шестка на гвоздике, рядом два ухвата, совок и тушилка для угольков, сам самовар стоял, видно, в шкапу.

– Ночевать будете али как? – спросила Степановна и выставила самовар.

– Нет уж, мы прямым ходом... Обогреемся да и домой. – Иван Африканович снял шапку и сложил в нее свои мохнатые рукавицы. – Нюшка-то где, спит, что ли?

– Какое спит! Две коровы должны вот-вот отелиться, дак убежала еще с вечера. Каково живешь-то?

– А добро! – сказал Иван Африканович.

– Ну и ладно, коли добро. Не родила еще хозяйка-то?

– Да должна вот-вот.

– А я только на печь забралась, думаю, Нюшка стучает, ворота-то мы запираем редко.

Зашумел самовар. Старуха выставила из шкапа бутылку. Принесла пирога, и Иван Африканович кашлянул, скрывая удовлетворение, поскреб штаны на колене.

– А ты-то, Михайло, все в холостяках? Женился бы, дак и меньше вина-то пил, – сказала Степановна.

– Это уж точно! – Мишка, смеясь, хлопнул ее по плечу. – Вина-то я, Степановна, много пью. Ведь вот и сегодня до чего допил, что прямо беда! Беда!..

Мишка с горестным весельем качал головой:

– Бери зятем, пока...

Иван Африканович пнул Мишку валенком под столом, но Мишка не унимался:

– Отдашь за меня дочку-то, что ли?

– Да со Христом! – засмеялась бабка. – Берите, ежели пойдет, хоть сейчас и вези.

Ивану Африкановичу ничего не оставалось делать, как тоже включиться в дело; он уже громко, на всю избу, кричал Степановне и Мишке:

– Ну вот и я говорю, точно! У девки, у Нюшки, руки-то... Грамот одних... Миш? Я те говорю, точно! Степановна? Ты меня знаешь! Иван Африканович кому худо делал? А? По-

сурьезному!.. Я ему говорю, сейчас в Сосновку приедем, так? Он мне говорит... Нюшка! А ну-ко выходи сюда, Нюшка! Вот я сейчас на ферму пойду, Нюшку приведу. Степановна? Ч-ч!

Однако Ивану Африкановичу не пришлось идти за Нюшкой. Стукнули ворота, и Нюшка сама объявилась на пороге.

– Аннушка! – Иван Африканович с полной стопкой встал ей навстречу. – Анютка! Троюродная! Да мы тебя... да мы... мы... да экой девки на всю округу нету! Ведь нету такой девки? Одних грамот... Ч-ч! Миш? Всем наливай. Я говорю, что нет лучше девки! А Мишка? Да разве Мишка худ парень? Ведь мы, Анюта, за тобой... значит, это самое, сватаем.

– Чего? – Нюшка, в навозных сапогах и в пропахшей силосом фуфайке, встала посреди избы и, прищурившись, поглядела на сватов. Потом бросилась за перегородку, проворно выскочила оттуда с ухватом: – Неси, леший! Чтобы духу вашего не было, пьянчужки несчастные! Неси, леший, пока глаза-то не выколола! Неси вас леший, откуда пришли!

Иван Африканович недоуменно попятился к двери, не забыв, однако, прихватить шапку с рукавицами, а старуха попыталась остановить дочку:

– Анна, да ты что, сдурела?

Нюшка заревела, схватила Ивана Африкановича за ворот:

– Иди, пустая рожа! Иди, откуда пришел, сотона! Сват выискался! Да я тебе...

Не успел Иван Африканович очнуться, как Нюшка сильно толкнула его, и он очутился на полу, за дверями; таким же путем оказался в сенях и Мишка.

Потом она выскочила в коридор, уже без ухвата. Еще более бесцеремонно и окончательно вытолкала сватов на улицу и захлопнула ворота...

В доме стоял рев. Нюшка с плачем кидала на пол что попало, вся в слезах кричала и металась по избе и материла весь белый свет.

– Ну и ну!.. – сказал Мишка, шупая локоть.

А Иван Африканович растерянно хмыкнул.

Он еле поднялся, сперва на четвереньки, потом, опираясь на руки, долго разгибал колени, с трудом выпрямился:

– Хм! Вот ведь... Бес, не девка. В ухо плюнуть да заморозить. Пармен? А где у меня Пармен?

Пармена у поленницы не было. Иван Африканович забыл привязать мерина, и он давно уже топал домой, топал один, под белой апрельской луной по тихой дороге, и заvertка одиноко скрипела в ночных полях.

3. Союз земли и воды

Под утро погода сменилась, пошел снег, поднялся ветер. Во всех подробностях и с красочными прибавками про сватовство Мишки Петрова знала вся округа: сарафанная почта сработала безотказно, даже в такую выюгу.

Магазин открылся в десять часов, бабы ждали выпечки хлеба и со вкусом обсуждали новость:

– Говорят, сперва-то ухватом, а потом ножик сгребла со стола-то да с ножиком на мужиков-то!

– Ой, ой, а старуха-то что?

– А что старуха? Она, говорят, и старуху кажин день колотит.

– Ой, бабы, полноте, что здря говорить. Нюшка матку пальцем не трагивала. Нет, дружно у них с маткой, экую бухтину про Нюшку разнесли.

– Чего говорить, смирёнее не было девки.

– Дак лошадь-то пришла?

– Пришла одна, ни мужиков, ни накладной нету.

- Говорят, в бане в сосновской и ночевали.
- Дорвались до вина-то!
- Готовы в оба конца лить.
- Товар-то целой, однако?
- Преников-то привезли, а говорят, у двух самоваров кранты отломило, мерин-то сам забрел на конюшню, дровни-то перекувырнулись.
- Ой, ой, ведь не рассчитаться Иван-то Африкановичу!
- А все вино, вино, девушки, не было молодца побороть винца!
- Да как не вино, знамо, вино!
- Сколь беды всякой от его, белоглазого, сколь беды!

Заходили все новые и новые покупательницы. Завернул бригадир, ничего не купил, потолкался и ушел, зашли трактористы за куревом. И весь разговор крутился опять же вокруг Мишки да Ивана Африкановича.

Ивана Африкановича видели рано утром, как бежал откуда-то, как зашел в дом и будто бы закидался по избе, потому что еще вчера, пока ездил в селпо, жену его, Катерину, увезли в больницу родить, жены не оказалось, и будто бы он сказал теще, старухе Евстоле, что, мол, все равно он, Иван Африканович, задавится, что он без Катерины хуже всякой сироты. Теща же Евстоля, по словам баб, сказала Ивану Африкановичу, что она, хватит, намаялась, что уедет к сыну Митьке в Северодвинск, мол, нажилась вдоволь, покачала люльку по ночам, что вам бы, мол, с Катериной только обниматься и что она, Евстоля, дня больше не останется и уедет к Митьке.

Конца-краю нет бабым пересудам... Продавщица ушла на конюшню, писать акт, наказав бабам приглядывать за прилавком, и в магазине стоял шум, бабы говорили все сразу, жалели Ивана Африкановича и ругали Мишку. В ту самую минуту и ввалился в магазин сам Мишка, со вчерашнего пьяный, без шапки.

У кого какой милой,
У меня дак Мишка,
Никогда не принесет
Лампасею¹ лишка! —

- спел он и замотал головой. – Здорово, бабы!
- Здравствуй, здравствуй, Михайло.
 - Чего веселой-то?
 - А-а...
 - Не привез невесту-то?
 - Нет, бабы, не вышло дело.
 - Голова-то, поди, болит?
 - Болит, бабы, – признался парень и сел на приступок. – Не ремесло это, вино эдак глушить. Нет, не ремесло... – Мишка мотал головой.
 - А куда друга-то девал, свата-то? – как бы всерьез допытывались бабы.
 - Ох, и не говори! Сват-от дак... – Мишка долго хохотал на приступке и от этого закашлялся. – Ой, бабы! Ведь нас, как этих... как диверсантов...
 - Не приняла?
 - Выставила! Ухватом этим... У меня и сейчас локоть болит, как она шуганет, мы с лесенки-то ракетой. Как ветром нас сдуло! Ой, бабы! Лучше не говорите...
- Мишка опять зашелся в смехе и кашле, а бабы не отступались:

¹ Л а м п а с е й – конфеты; от слова «монпансье» (прост.).

– Дак вдругорядь-то не стукались?

– Что ты! Нам и того сраженья – за глаза. Очнулись, что делать? Мерин домой ушел, стоим на морозе. Я говорю: «Пойдем, Иван Африканович, баню найдем да до утра как-нибудь прокантуемся. Думал, на перине буду ночевать с Нюшкой, а все повернулось на сто градусов». Пошли, баню нашли.

– Чья баня-то? Ихняя?

– Ну! Теплая еще, и воды полторы шайки. Я говорю, давай, Иван Африканович, раз дело со сватовством не вышло, дак хоть в тещиной бане вымоемся.

– Ой, сотона! Ой, гли-ко, ты бес-то! – Бабы, смеясь, завсплескивали руками.

– «...Снимай, – говорю, – Иван Африканович, рубаху, будем грехи смывать». А он упрямится, форс показывает: мочалки нет, того нет. «Меня, – говорит, – в Москве в трех домах знают. Я, – говорит, – чаю без сахару не пивал, не буду, как дезертир, в чужой бане мыться. Да и жару, говорит, нет». А я, бабы, взял ковшик, плеснул на каменку. Оно верно, никакого от каменки толку, все равно, думаю, не я буду, ежели в тещиной бане не вымоюсь! Вот Ивану Африкановичу тоже деваться некуда, гляжу, раздевается.

– Вымылись?

– Ну! Без мыла, правда, а хорошо. Оболоклись, легли на верхнем полке – валетом. А худо ли? Свищи, душа, через нос. Я, бывало, в Доме колхозника ночевал, дак там меня клопы до крови оглодали, а тут бесплатная койка. Только слышу, Иван Африканович у меня не спит. «Чего?» – спрашиваю. «А, – говорит, – ты эту... как ее... Верку-то заозерскую знаешь? Больно, говорит, добра девка-то». Я говорю: «Иди ты, Иван Африканович, знаешь куда! Что я тебе, богадельня какая? Одну с бельмом нашел, другую хромую. Эта Верка и под гору с батоном ходит». Он мне говорит: «Ну и что? Подумаешь, хромая, зато хозяйство и братанов много по городам». Я говорю: «Не надо мне этих братанов».

– Нет уж, Миша, Верка тебе тоже не невеста.

– Ну! Я и говорю Ивану Африкановичу...

В это время в магазин затащили ящики с товаром и два новых изуродованных самовара, завернутых в бумагу. Бабы переключились на товар, что да как, и Мишка, оставшись не у дел, замолчал.

– Прениками-то будешь торговать?

– Ой, бабы, кабы кренделей-то, кренделей-то хоть бы разок привезли...

Продавщица без накладной торговать новым товаром отказалась наотрез, свидетели подписали акт о сломанных самоварах и о наличии ящиков, а Мишка продолжал рассказывать:

– «Будешь ты, – говорю, – спать сегодня аль не будешь?» Слышу – захрапело. Я утром пробудился, гляжу, нет Ивана Африкановича. Один на полке лежу. Видать, будил он меня, будил да так и убежал по холодку, отступился. Я спать-то горазд с похмелья. Сел я, бабы, закурить хотел. Гляжу, штаны-то у меня не свои, – видать, мылись да штаны перепутали. «Ладно, – думаю, – хоть эти есть», выкурнул из предбанника, вроде никого не видать, да по задам, по задворкам, думаю, хоть бы живым из деревни уйти.

– Дак ты бы поглядел: может, накладная-то в штанах у Ивана Африкановича.

Мишка начал шарить по карманам.

– Нет, это не ремесло... Газетка, кисет, спички тут. А вот еще грамотка. Ну! Точно, накладная.

Мишка начал читать накладную, а продавщица сверять товар.

– «Пряники мятные, по рушь сорок кило, самовары тульские, белые, тридцать три восемьдесят штука, шоколад «Отёлло», есть?

– Есть, есть!

– «Гусь озерный, Лиса-Патрикеевна...» Стой, это еще что за лиса? А, игрушки... «Репр... репродукция «Союза Земли и Воды», есть?

Тут.

– Ну-ко, хоть бы поглядеть, что это за союз. – Мишка ободрал с картины обертку и щелкнул от радости языком: – Мать честная! Бабы, вы только поглядите, чего мы привезли-то! Не здра съездили. Два пятьдесят всего!

Бабы как взглянули, так и заплевались, заругались: картина изображала обнаженную женщину.

– Ой, ой, унеси, лешой, чего и не нарисуют. Уж голых баб возить начали! Что дальше-то будет?

– Михайло, а ведь она на Ньюшку смахивает.

– Ну! Точно!

– Возьми да над кроватью повешай, не надо и жениться.

– Да я лучше тридцать копеек добавлю...

– Ой, ой, титьки-то!

– И робетёшка вон нарисованы.

– А этот-то чего, пьет из рога-то?

– Дудит!

– Больно рамка-то добра. На стену бы для патрета.

– Я дак из-за рамки бы купила, ей-богу, купила.

Картину купили «для патрета». По просьбе хозяйки картины Мишка выдрал Рубенса из рамки, свернул его в трубочку.

А Иван Африканович так и не появился.

Принесли с пекарни выпечку хлеба, пошли в ход и мятные пряники. Бабы заразвязывали узелки, зарасстегивали булавки. Мальчишка, посланный за Иваном Африкановичем, вскоре прибежал и сказал, что Ивана Африкановича дома нет, а куда девался, никто не знает, и что бабка Евстоля качает люльку, кропает Гришкины штаны и ругает Ивана Африкановича путаником. И что будто бы Гришка, дожидаясь штанов, сидит на печи и плачет.

4. Горячая любовь

За деревней ничего не было видно, только дымился белый буран.

Клубы колючего снега сшибались по-петушиному и гасили друг друга, нарождались новые клубы, крутились, блудили в своей толпе, путая небо и землю. Видно, в последний раз бесилась зима. Ветер не свистел и не плакал, а шумел ровным, до бесконечности широким шумом. Со всех сторон, и снизу и сверху, хлопали и разрывались на плети плотные ветряные полотнища.

Иван Африканович был не очень тепло одет и только приговаривал: «Ох ты, беда какая, ох и беда!» Он и сам не знал, вслух ли это говорилось или только мысленно, потому что если бы вслух, то все равно голос был не слышен. Щупая ольховой палкой дорогу, избочась и разрезая плечом налетающий рывками воздух, он с трудом шел к лесу. Иногда ветер заливал дыхание. Тогда Иван Африканович, как утопающий, крутил головой, искал удобного положения, чтобы вдохнуть воздух, и чувствовал, как ослабевают коленки во время задержки дыхания. Он знал, что в лесу дорога лучше и ветер тише. Шел очень медленно и с закрытыми глазами. Когда палка уходила глубоко в снег, он брал два шага влево, потом четыре вправо, если дороги левее не было.

Ветряным холодом давно выдуло остатки вчерашнего похмелья. «Ох, Катерина, Катерина... – мысленно говорил Иван Африканович. – Да что же это... Уехала, увезли. Как ты одна, без меня-то?..»

Тосковал он взаправду. После того как прибежал из сосновской бани и не застал жену дома, он, не слушая тещу, кинулся вослед Катерине. «Бес с ним, с мерином и с товаром, раз-

берутся! А какое ты дураково поле, Иван Африканович! Напился вчера, ночевал в бане. А в это время Катерину увезли родить, увезли чужие люди, а он, дураково поле, ночевал в бане. Некому бить, некому хлестать». Так размышлял Иван Африканович и понемногу успокаивался. Суетливое и бестолковое буйство в душе сменилось тревогой и жалостью к Катерине. Он пробежал через Сосновку и даже не вспомнил про ночное происшествие. Скорее, скорее. «Катерина. Увезли родить, девятый по счету, все мал мала меньше. Баба шесть годов ломит на ферме. Можно сказать, всю орду поит-кормит. Каждый месяц то сорок, то пятьдесят рублей, а он, Иван Африканович, что? Да ничего, с гулькин нос, десять да пятнадцать рублей. Ну, правда, рыбу ловит да за пушнину кой-чего перепадает. Так ведь это все ненадежно...»

Иван Африканович вспомнил, как еще холостым провожал Катерину с гулянок. Пришел с войны – живого места нет, нога хромала, так и плясал с хромой ногой. Научился. Может, из-за этого и нога на поправку пошла, что плясал, давал развитие... Катерина была толстая, мягкая. Она и сейчас еще ничего, а ежели принарядится да стопочку выпьет... Только когда ей наряжаться-то? Восемь ребятишек, на подходе девятый. Потрешь сопель на кулак, пока вырастут. Теща, конечно, выручает, качает люльку, около печи гоношится, без тещи бы тоже хана. Теща Евстоля тоже старуха ничего. Хоть и собирается кажин день к Митьке в Северодвинск, а ничего. Пятый год говорит, что уедет к Митьке...

Иван Африканович не мог забыть ей только одну обиду. Не то что не мог, просто будто заноза в пальце сказывается тот случай, особенно когда выпьешь. Правда, теща-то, пожалуй, и не виновата, виновата больше мать-покойница, да обе были добры, чего говорить.

Дело приключилось в пивной праздник, Успеньев день. Иван Африканович, а по-тогдашнему Ванька Дрынов, гостил у Нюшкиной матери – Степановна как-никак по отцу двоюродная тетка. Нюшка была самолучшей подружкой Катерины. Вместе плясали и провожались, вместе рвали черемуху. И вот теперь у Катерины на подходе девятый, а Нюшке около сорока – и все еще в девках. «Завяла троюродная, – видать, не выхаживать, – думал Иван Африканович. – А все из-за того, что изъян, глаз один совсем белый, уже в войну молотила рожь и уткнула на гумне соломиной».

В то Успенье Иван Африканович пришел в Сосновку с твердым решением увести Катерину замуж самоходкой. Нюшка пособляла ему, как могла. Катерина через нее передала жениху, что пойдет в любую ночь, на матку не поглядит и разговоров не побоится. Дом у Евстоля с Катериной стоял как раз напротив Нюшкина, это теперь-то поредела Сосновка и дома этого давно нет, а тогда стоял большой дом – любо-дорого. Иван Африканович сидел в гостях, пил терпкое сусло и поглядывал на Евстолин дом, и на душе было молодо и тревожно. Золотым колечком укатилась молодость – куда все девалось? Играло сразу три гармоньи, пели в темноте веселые девки. Ребята заводили на улице драки, и девки и бабы расталкивали их, и они вырывались из женских рук, но вырывались ровно настолько, чтобы не вырваться и взаправду...

Иван Африканович с Нюшкой вышел тогда на улицу. Новые хромовые сапоги и сержантские галифе сидели на нем ладно и туго, звякали на пиджаке и тянули за полу ордена. Нюшка, гордая за троюродного брата, шла с ним под ручку. В августовской темноте и веселой сутолоке они долго искали Катерину и не нашли бы, если б она не пошла плясать и не запела: голос этот у Ивана Африкановича звенит и сейчас в ушах. Иван Африканович сплясал раза два, походил с девками по деревне, а под утро увел их из Сосновки. Нюшка пошла с ними для веселья. Он помнит, как она, словно бы в шутку, спела частушку, выходя в темное, но еще теплое поле, пахнущее ржаной соломой и сухой земляной пылью:

Не ходи, подруга, замуж,
Как моя головушка,
Лучше деверя четыре,

Чем одна золовушка.

Но ни братьев, ни сестер не было у Ивана Африкановича, Катерине нечего было бояться золовок и деверьев. Получилось другое: тогда еще живая мать прочила Ивану Африкановичу не ту невесту, Катерина была ей нелюба. Пришли в деревню уже под утро, мать, сердитая, отворила ворота. В избе девки сели на лавку, а Иван Африканович уже разувался, для него, фронтовика, все было ясно и четко. Мать то заслонкой забрякает, то выбежит в сени, стонет и охает. Вышла на поветь, там воротца как раз на сосновскую сторону, на невестину деревню. Прибежала в избу, всплеснула руками: «Ой, девки-матушки, Сосновка горит!» Нюшка и Катерина кинулись из избы опрометью, ворота за ними сами захлопнулись на защелку. Пока Иван Африканович надевал сапог, мать закрыла ворота еще и на крюк. «Неправда, Ванька, не бегай, ушли, дак и слава Богу», – спокойно сказала она.

Он чуть не вышиб воротницу, долго путался с защелкой. Выскочил на улицу: в августовской ночи громоздилась темень, не горела никакая Сосновка, и девок уже не было...

После этого Иван Африканович не мог жениться два года, а на третий женился. На молчаливой девке из дальних заозерных мест. Она засыпала на его руке тотчас же, бездушная, как нетопленная печь... У них была холодная любовь: дети не рождались. Мать говорила, что их испортили, подшутили, и через год жена сама ушла в свои заозерные места, вышла замуж и, как слышал Иван Африканович, с другим народила четверых ребятишек.

«Да, у них с ней была холодная любовь, это уж точно. Вот с Катериной – любовь горячая...»

Иван Африканович посватался к ней вновь; тут-то и заупрямилась Евстоля, теща нынешняя. Поставила дочке запрет: не пойдешь – и все. Нечего, мол, им измываться, мы не хуже их, в нашем роду все были работники. Дело затянулось. На свадьбе теща не пила, не ела, сидела на лавке, будто аршин проглочен, и вот Иван Африканович все еще помнит эту обиду. Да нет, какая уж там обида, столько годов прошло. С Катериной у него горячая любовь: уйдет она в поле, на ферму ли, ему будто душу вынет.

«Ох, Катерина, Катерина!.. – Иван Африканович почти бежал, волнение опять нарастало где-то в самом нутре, около сердца. – Увезу голубушку домой, унесу на руках. Нечего ей там и маяться. Дома родит не хуже... Солому на ферме буду трясти, воду носить... Выпивку решу, в рот не возьму вина, только бы все ладно, только бы...»

Вьюга в поле запела вновь, ветер сек снегом горячие щеки. Иван Африканович выбежал на угор, до больницы и конторы сельпо было подать рукой.

Он не помнил, как добежал до больничного крылечка...

* * *

– Иван Африканович? А Иван Африканович? – Фельдшерица приоткрыла двери в коридорчик, заглянула за печку. Ивана Африкановича нигде не было. – Товарищ Дрынов!

«Куда он девался? – подумала она. – Два дня в прихожей крутился, домой не могли прогнать. А тут как провалился».

Она решила, что Дрынов ушел, так и не дождавшись жениных родов. На всякий случай открыла кладовку, куда уборщица складывала дрова, и рассмеялась. Иван Африканович спал на поленьях: постеснялся даже подложить под голову старый больничный тулуп. Он не спал уже две ночи и ничего почти не ел, а на третий день его сморило, и он уснул на поленьях.

– Товарищ Дрынов, – фельдшерица тронула его за рукав, – у вас ночью сын родился, вставайте.

Иван Африканович вскочил в ту же секунду. Он даже не успел постесняться, что залез в кладовку и уснул, фельдшерица стояла и ругала его:

– Вы бы хоть тулуп-то подстелили!

– Милая, да я... я тебе рыбы наловлю. Голубушка, я... я... Все ладно-то хоть?

– Все, все.

– Я рыбы тебе наловлю. Отпустила бы ты их домой-то?

– Нельзя. Денька два пусть полежит. – Фельдшерица подала ему халат. – Сына-то как назовете?

– Да хоть как! Отпусти ты их. Как скажешь, так и назову, отпусти, милая! Я их на чуночках, на санках то есть... Мы, это, доберемся потихоньку.

Из палаты вышла Катерина и только слегка взглянула на Ивана Африкановича. Тоже начала упрасивать, чтобы отпустили.

– Чего мне тут делать? А ты дак сиди! – обернулась она к мужу. – Непошто и пришел. Дом оставил, ребята одне со старухой.

– Катерина, ты это... все ладно-то?

– Когда с дому-то пришел, севодни? – не отвечая, сурово спросила Катерина.

– Ну! – Иван Африканович мигнул фельдшерице, чтобы не выдала, не проговорила.

– А непошто и пришел.

– Да ведь как, это самое... Где парень-то? Опять, наверно, весь в вашу породу.

Катерина, словно стыдясь своей же улыбки, застенчиво сказала:

– Опять.

Фельдшерица глядела, глядела и пошла, а Иван Африканович за ней, жена тоже, и оба опять начали уговаривать, чтобы отпустила. Фельдшерица сначала не хотела и слушать, потом отмахнулась:

– Ладно уж, идите. Только на работу неделю-полторы не ходить. Ни в коем случае.

...Вскоре Иван Африканович вышел с женой и с ребенком на улицу. Младенца, завернутого в одеяло и в тот же больничный тулуп, он положил на санки, взятые у знакомой тетки.

Дорогу после недавней пурги успели уже накатать. Погода потеплела, ветра не было, повешенному припекало солнце.

– Как парня-то назовем? – спросил Иван Африканович, когда подошли к сельсовету. – Может, Иваном? Хоть и не в мою породу, а я бы Иваном.

– Давай и Иваном, – вздохнула Катерина.

– Давай. Дело привычное.

– Поди в сельсовет, да парня запиши, да пособие попроси, и без меня выдадут, а я пойду. В Сосновке тебя подожду, у Нюшки чаю попьем. Да деньги-то не пропей.

– Ну! Ты что? Я вас догоню, не торопись, помаленьку иди-то!

Иван Африканович осторожно поправил тулуп с ребенком и торопливо пошел в сельсовет.

Катерина на санках повезла сына домой. Она зашла в Сосновке к Нюшке. Степановна согрела самовар, они долго говорили обо всех делах, а Ивана Африкановича не было. Он прибежал расстроенный, когда Катерина уже выходила с ребенком на крыльцо. Степановна с Нюшкой вышли тоже на улицу.

– Здорово, Степановна, здорово, Анята.

– Зашли бы, да и ночевали, – сказала Степановна, пока Нюшка и Катерина укладывали тулуп с ребенком.

– Нет уж, какой ночлег... Пятьдесят четыре рубля... с копейками... высчитали из пособия.

– Может, самовары-ти взять да починить? – спросила Степановна. – Ей-богу, возьми самовары-ти! Саша Пятак в кузнице кранты-ти припаяет. Нам вон тоже надо бы самовар-то, а другой себе возмешь.

– А и верно! Возьму да и починю. Ты как, Катерина?

– Ой тебя, лешой! – Катерина покачала головой. – Это пошто было лошадь-то одну отпускать?

Иван Африканович сник, замолчал, Степановна с Нюшкой постояли у ворот и ушли, а они двинулись по дороге.

Припекало взаправду, первый раз по-весеннему голубело небо, и золоченные солнышком сосны тихо грелись на горушке, над родничком. В этом месте, недалеко от Сосновки, Катерина да и сам Иван Африканович всегда приворачивали, пили родничковую воду даже зимой. Отдыхали и просто останавливались посидеть с минуту.

Новорожденный спокойно и глубоко спал в своих санках. Сосны, прохваченные насквозь солнцем, спали тоже, спали глубоко и отрадно, невыносимо ярко белели везде снежные поля.

Катерина и Иван Африканович, не сговариваясь, остановились у родника, присели на санки. Помолчали. Вдруг Катерина улыбчиво обернулась на мужа:

– Ты, Иванушко, чего? Расстроился, вижу, наплюнь, ладно. Эк, подумаешь, самовары, и не думай ничего.

– Да ведь как, девка, пятьдесят рублей, шутка ли...

Родничок был невелик и небоек, он пробивался из нутра сосновой горушки совсем не нахально. Летом он весь обрастал травой, песчаный, тихо струил воду на большую дорогу. Зимой здесь ветром сметало в сторону снег, лишь слегка прикрывало, будто для тепла, и он не замерзал. Вода была так прозрачна, что казалось, что ее нет вовсе, этой воды.

Иван Африканович хотел закурить и вместе с кисетом вытащил из кармана бумажку, что вручили ему в сельсовете. Написана она была карандашом под копирку.

«АКТ

Мы нижеподписавшиеся составили настоящий акт. В том, что с одной стороны контора сельпо в лице продавца с другой возчик Дрынов Иван Африканович, при трех свидетелях. Акт составлен на предмет показанья и для выяснения товара. Сего числа текущего года возчик Дрынов Иван Африканович вез товар со склада сельпо и лошадь пришла без него, а где был вышеозначенный т. Дрынов И. Аф. это не известно, а по накладной весь товар оказался в наличности. Только лошадь с товаром по причине ночного время зашла в конюшню и дровни перевернула, а т. Дрынов спал в сосновской бане и два самовара из дровней упали вниз. Данные самовары на сумму 54 руб. 84 коп. получили дефект, а именно: отломились ихние краны и на одном сильно измятый бок. Другой самовар повреждений, кроме крана, не получил. Весь остальной товар принят по накладной в сохранность, только т. Дрынов на сдачу не явился, в чем и составлен настоящий акт».

Глава вторая

1. Детки

Ему было хорошо, этому шестинедельному человеку. Да, он жил на свете всего лишь только шесть недель. Конечно, если не считать те девять месяцев. Ему не было дела ни до чего. Девять месяцев и шесть недель тому назад его не существовало.

Шесть недель прошло с той минуты, как оборвалась пуповина и материнская кровь перестала питать его маленькое тельце. А теперь у него было свое сердечко, все свое. При рождении он криком провозгласил сам себя. Уже тогда он ощущал твердое и мягкое, потом теплое и холодное, светлое и темное. Вскоре он стал различать цвета. Звуки понемногу тоже приобретали для него свои различия. Но самое сильное ощущение было ощущение голода. Оно не прекращалось даже тогда, когда он, насытившись материнским молоком, улыбался белому снегу. Даже во сне потребность в насыщении не исчезала.

И вот он лежал в люльке, и ему было хорошо, хотя он сознавал это только одним телом. Не было и тени отвлеченного, нефизического сознания этого «хорошо». Ноги почему-то сами двигались, туда-сюда, пальчики на руках, тоже сами, то сжимались в кулачок, то растопыривались. У него еще не было разницы между сном и не сном. Во сне он жил так же, как и до этого. И переход от сна к не сну для него не существовал.

Люлька слегка покачивалась. Если б он был чуть побольше, то он услышал бы, что бабкины руки пахнут дымом. Он бы увидел громадный потрескавшийся потолок, и рев старшего, полутородаговалого Володи вывел бы его из созерцательно-счастливого равнодушия.

– Бес ты, Володька, чистый бес, – ласково говорила бабка Евстоля. – И не стыдно тебе? Володька ревел у нее на руках.

У него, у этого полутородаговалого Володи, шла борьба с младшим шестинедельным братом. Борьба за люльку. Он, Володя, еще качался в колыбели, когда место в ней занял младший, только что родившийся его брат.

Володя уже ходил на своих ногах, говорил много слов, бабку называл мамой и отца папой – и все еще качался в люльке. Когда его выселили в первый раз, он сначала как бы снисходительно уступил люльку. Но уже через минуту изумился этой явной несправедливости, заревел благим матом и залягался.

Ему и сейчас хотелось в люльку. Еще ему хотелось, чтобы рядом была мать, и эта тоска, боль оттого, что матери нет рядом, сама собой выливалась в жажду завладеть люлькой.

Бабка подоткнула одеяло, передвинула маленького в один конец, а в другой уложила Володьку.

Люлька была большая. Володька сразу успокоился, а маленькому было все равно, с кем лежать. Володька потянулся за соской. Ему давно было положено отстать от соски, но он все еще не мог отвыкнуть от нее. Бабка мазала соску горчицей, говорила, что соску утащила собака, но все было напрасно: Володька не расставался с резиновой пустышкой.

Володька лежал в люльке довольный и успокоившийся. Новое существо шевелилось где-то в ногах, но он уже привыкал к этому беспокойству. Но Володьке хотелось, чтобы люлька качалась, чтобы очеп скрипел как обычно. Он задумался, глядя на солнечный зайчик, отраженный на стене стеклом комода.

Он уже знал все звуки родимой избы. Особенно звук двери. У него замирало сердце от тоски, когда бабка с ведром выходила из избы и исчезала. Тогда ему становилось невыносимо тоскливо. Слезы готовы были брызнуть, и губы сами складывались горькой подковкой.

Долгие, жуткие длились секунды. Он уже не мог сдерживать слезного крика. Из сжатого горлышка вот-вот бы вырвался этот крик, но вдруг дверь отворилась и бабка Евстоля, живая, настоящая, появлялась в избе и, не глядя на ребят, торопилась к печи. Радость и облегчение разом гасили Володькино одиночество, накопившийся крик и слезы проглатывались. Так повторялось много раз, пока бабка не кончала обряды. Он не мог привыкнуть к этому. Тоска по всегда отсутствующей матери точила его сердечко, а когда уходила бабка, ему было и вовсе немого. Даже не помогало укачивание колыбели.

Маруся, старшая сестренка двух лежащих в колыбели братьев, подошла к люльке, загремела им погремушкой. Ей было четыре года, каждый сучок в люльке она знала лучше Володьки, и ей иногда тоже очень хотелось в люльку...

– Покачай ты их, Маруся, – сказала бабка, – покачай, хорошая девушка. Вот, вот, за веревочку. Умница! Вот оне вырастут, тебя на машине покатают.

Маруся тихонько качнула люльку. За окошком белел снег и светилося солнышко. Мама ушла по этому снегу. Маруся еще спала, а мама ушла. И папы нет. Маруся все время молчала, и никто не знал, что она думает. Она родилась как раз в то время, когда нынешняя корова Рогуля была еще телочкой и молока не было, и от этого Маруся росла тихо и все чего-то думала, думала, но никто не знал, что она думала.

Бабка Евстоля поставила самовар:

– Вот мама сейчас придет, чай станем пить. Гришку с Васькой разбудим, да и Катюшке с Мишкой, наверно, уже напостыло спать.

Упоминание о матери отразилось на Марусином личике долгой изумленно-тревожной улыбкой. Она словно бы вспомнила, что у нее есть мама, и вся засветилась от радости, восхищенно выдохнула:

– Мамушка?

– Мамушка и придет, – подтвердила бабка Евстоля. – Вот как коровушек подоит, так и придет.

Девочка снова задумчиво и отрешенно поглядела на улицу.

Мишка с Васькой – близнецы, обоим по шесть годов, – пробудились оба сразу и устроили возню. Потом долго надевали тоже одинаковые свои штаны: каждый раз который-нибудь надевал штаны задом наперед да так и ходил весь день. Четыре валенка у них были не парные, перемешанные: ребята долго и шумно выбирали их из кучи других валенок, сушившихся на печи. Наконец валенки были извлечены и обуты. На сарае, куда отправились выпавшиеся братики, было холодно и пахло промерзшим сеном. Дрожа от стужи, ребята поднатужились, каждый хотел брызнуть дальше другого.

– Я вот вам покажу, я вот вам уши-то надеру! – услышали они голос бабки Евстоли. – Ишь, всю стену облили, прохвосты, намерзло, как на мельнице!

Бабка выходила с ведром к корове. Мишка с Васькой побежали в избу. Утренний необъяснимый восторг насквозь пронизывал их обоих и замирал где-то у самых копчиков. Им хотелось то ли завизжать, то ли полететь, однако холод заставил быстро убраться в избу. Интересно, встала или еще спит Катюшка? Она каждый раз велит им умываться, такая начальница. Спит. Они, не сговариваясь, молча, легко убедили себя в том, что забыли умыться.

Хотелось есть. Из-за перегородки пахло жареной картошкой, шумел у шестка самовар. Васька дотронулся пальцем до самовара, и Мишка дотронулся, Мишка подул на палец, и Васька подул.

Чего это опять Володька ревет? Он и Катюшку с Гришкой разбудил, ревет.

Глядя на Володьку, замигала глазенками и Маруся. Мишка и Васька подошли к люльке. Володька ревет. А этот, новый-то, не ревет. Ваське и Мишке торчать у люльки не было никакого интереса; не дожидаясь еды, надели шапки, пальтишки сняли с гвоздиков – и на улицу...

Катюшка вскочила с постели и сразу взяла Володьку на руки. Володька успокоился. Гришка, ленивый соня, вставать не хотел. Катюшка еще вчера уроки выучила, а Гришка отложил на сегодня, и вот он лежал, не мог преодолеть лень, и у него болела душа из-за невыученных уроков. Конечно, письменное-то делать все равно придется, и упражнение писать, и примеры решать. А вот устное... Хорошо Ваське с Мишкой, они в школу не ходят. Все-таки Гришке пришлось вставать, он ходил уже в третий. А Катюшка училась в четвертом, она все видела – как Гришка жил и что он делал, видела, и Гришке не было от нее покоя. Вот и сейчас успокоила Володьку – и на него, как учительница, бери то, делай это, усадила за стол и велит примеры решать, а когда решать-то? Вон бабка уже и самовар несет, на стол ставит.

...Так началось утро в семье Ивана Африкановича. Обычное апрельское утро. Постепенно все были накормлены, все одеты. Катюшка с Гришкой ушли в школу. Васька с Мишкой убежали опять гулять по деревне, Марусю в больших, не по росту валенках тоже увели гулять в другую избу. Дома остались лишь Володька с маленьким. Они спали в люльке, и очеп легонько поскрипывал, и бабка Евстоля сбивала мутовкой сметану в горшке. В избе тикали часы, скреблась под половицей мышка. Но не успела бабка Евстоля опомниться от утренней канители, как в дом опять заявились сперва Маруся, потом и Мишка с Васькой. И еще человек шесть сотоварищей.

Успели уже и перемерзнуть, снегу натащили, немного и погуляли.

– Ой, беда, однако! – Евстоля по очереди вытирала им холодные, мокрые носы. – Хоть бы один умер, дак ведь нет, не умрет ни который. Где погостили-то? Как пошехонцы, как пошехонцы! Вот пошехонцы-ти раньше тоже были растрепы. Кушать кушали, а жить-то не умели.

– Баба, сказку, баба, сказку! – Васька запрыгал на одной ноге, задергал бабкин подол.

– Дак вам какую севодни, пошехонскую аль про кота с петухом?

Все дружно остановились на пошехонской.

2. Бабкины сказки

– Давно было дело – еще баба девкой была, – не торопясь, тихонько начала бабка Евстоля. – Васька, не вертись! А ты, Мишка, опять пуговку отмолол. Ужо я тебе! В большой-то деревне, в болотном краю жили невеселые мужики, одно слово – пошехонцы, и все-то у тех мужиков неладно шло. А деревня-то завелась большая, а печи-то бабы топили все в разное времечко. Одна утром затопит, другая – днем, а иная – и темной ночью. Запалит, посидит у окошка да и давай блины творить. Пока блины-то ходят, печка протопится, баба вдругорядь растоплять. Пока вдругорядь растопит, блины-то возьмут да и закинут. Так и маялись, сердешные.

Бабка Евстоля рассказывала все это еще походя. Но вот наконец она обтерла стол, взяла в кухне рыльник со сметаной и села на лавку. Кое-кто из ребятишек уже забыл было закрыть рот, а теперь завозился. Но стоило ей начать рассказывать, и все тут же уgomонились.

– Робетешечка без штанов бегали, девки да робята плясать не умели. А старики да старики любили табак нюхать. До того любили, что все пронюхали, до последней копеечки. Да они и молоденьких научили. А табак-то надо возить издалека, за много верст. Срядили, благословясь, обоз. А как срядили? Все дело выручил умный Павел. «Надо, – говорит, – нам всем вместе ехать. Потому как всем вместе лучше». Сказал да и велел всем мужикам к завтраму готовыми быть, чтобы лошади были накормлены, чтобы завертки новые были. А вожжи связаны, которые лопнули. Вот легли пошехонцы спать. Небо-то к ночи выяснило, избы мороз выстудил все. Пошехонцы на полати забились. Утром Павел идет с обходом: «Запрягай, робятушки!» Самый хозяйственный да толковый был этот Павел. Зашевелились пошехонцы, започесывались. В одной избе брат говорит другому брату: «Рано еще вставать, вон и на улице темно». Другой брат говорит: «Нет, надо вставать, вон и Павел велит вставать». Что делать? Порешили

к соседским братьям сходить, узнать: время вставать аль не время еще. Разбудили соседских, стало их четверо. Соседские братцы и говорят: «Пожалуй, робята, рано еще вставать-то, вон и на улице тёмно». Встали все посередь улицы да и спорят. Одне говорят: надо вставать, другие – что вставать рано. Один и говорит: «Вот мы давайте еще вон в этом доме спросим». Разбудили еще один дом, стало их шестеро, и опять не могут прийти к согласью: кто говорит – рано, кто кричит: «Надо вставать!» Сгрудились все в одном краю, весь край и разбудили, шум подняли, крику этого хоть отбавляй. И не знают, чего делать. А умный Павел в том конце мужиков будит: «Запрягай, робятушки, надо за табаком ехать!» Ну, делать нечего, в том краю почали мужики вставать. Один мужик, Мартыном звали, и говорит: «Матка, матка, а где портки-то?» Забыл, куда портки оклад. Нашли ему портки, одевать надо. Мартын и говорит брату, все братья жили вместе, никогда не делились пошехонцы. Мартын и говорит: «Ты, Петруха, держи портки-то, а я буду с полатай в них прыгать». Взял Петруха портки, держит внизу, а Мартын прыгнул да попал только одной ногой. Полез опять на полати, вдругорядь прыгнул. Долго ли, коротко ли, а попали в портки обе ноги. А в том конце все еще крик стоит, как на ярмарке. Разделились у мужиков мненья-то: одне говорят, вставать надо, другие кричат, что рано. Пока спорили, звездочки все до единой потухли, хорошо, что хоть драки не было. Павел запряг первый свою кобылу, на дорогу выехал, срядились и другие по-за нему. Стал запрягать Лукьян с Федулой. Федула говорит Лукьяну: «Ты, брат Лукьян, держи крепче хомут-то, а я кобылу буду в его пехать». Держит Лукьян хомут, а Федула кобылу в хомут вот пехает, вот пехает. Весь Федула вспотел, а кобыла все мимо да мимо. Напостыло кобыле, взяла да как лягнет Федулу, все зубья в роте Федуле вышибла.

Евстоля остановилась, потому что ребятишки недружно засмеялись. Только Маруся, едва улыбнувшись, тихо сидела на лавке. Бабка погладила ее по темени, продолжала:

– Поехали. А выехали-то уж поздно, прособирались долго. Едут оне, кругом чистое поле, а велик ли и день зимой? Проехали один волок, вздумали ночевать пошехонцы. Ночевать в этой деревне пускали. А дело в святки было, здешние робята по ночам баловали. У кого поленицу раскатят, у кого трубу шапкой заткнут, а то и ворота водой приморозят. Углядели они пошехонский обоз. Лошадей-то распрягли, а все оглобли через изгороди и просунули да опять запрягли. Утром пошехонцы поехали дальше, а возы-то ни туды, ни сюды, никак с места не могут сдвинуться. Огороды да калитки трещат, хозяева выскочили. Почали молотить пошехонцев: разве это дело? Все прясла переломаны, все калитки пошехонцы на оглоблях уволокли. Еле живыми пошехонцы выехали из деревни, даже толковому Павлу тюма по голове досталась. Ну, кое-как да кое-как проехали еще день, начало темнеть вдругорядь, попросились опять ночевать. Мартын и говорит Павлу: «Теперече надо нам лошадей распрягчи, чтобы такого побоища, как вчера, не было». Напоили лошадок, сенца дали, сами попили кипяточку да и легли спать. А местные мужики шли вечером с беседы да и перевернули дровни-то оглоблями в обратную сторону. Утром Павел поднял обоз еще затемно. Как стояли дровни-то оглоблями не в ту сторону, так пошехонцы их и запрягли, да так и поехали со Христом. Едут день, ночь, одну деревню проехали, волок минули, довольные, – скоро и к месту приедут, табаку купят да обратно к бабам на теплые печки. Дорога была хорошая. Подъехали пошехонцы к большой деревне. Мартын и говорит: «Лукьян, а Лукьян, баня-то на твою похожа, тоже нет крыши-то». – «Нет, Мартын, – Лукьян говорит, – моя баня воротами вправо, а у этой ворота влево глядят. Не похожа эта баня на мою». – «А вон вроде Павлова баба за водой пошла, – Федула шумит, – и сарафан точь-в-точь!» – «Не ври!» – «А вон и крыша похожа! Ей-богу». – «Робята, – говорит Павел, – а вить деревня-то наша! Ей-богу, наша, только перевернулася! Дак ведь, кажись, и я-то Павел?» Это Павел-то эк говорит да за уши себя и щупает. Павел он али не Павел. Забыл, вишь, что он это и есть. Как из дому выехал, так и забыл. Вот какой был Павел толковый, а уж чего про тех говорить. И говорить про тех нечего.

Бабка Евстоля энергично взбивала мутовкой густую сметану. Ребята, раскрыв глазенки, слушали про мужиков-пошехонцев. Они еще не всё понимали, но бабку слушали с интересом.

– Вот и ты, Васька, как тот пошехонец, вишь, опять штаны-ти не так одел. Сказывать дальне-то?

– Сказывать, сказывать! – зашевелились, заулыбались, запеременивались местами.

Бабка добавила в горшок сметаны, очеп опять монотонно заскрипел в избе.

– Ничего у них не росло. Ржи не сеяли, одну только репу. А крапиву, чтобы у домов не росла, поливали постным маслом – кто их так научил, Бог знает. Кто что скажет, то и делали, совсем были безответные эти пошехонцы. Никому-то слова поперек не скажут, из себя выходили редко, да и то когда пьяные. Один раз наварили овсяного киселя. Хороший вышел кисель, густой, вот его хлебать время пришло. Раньше кисель овсяный с молоком хлебали. Мужиков шесть, а то и семь было в семье-то, уселись за стол кисель с молоком хлебать. Кисель на стол поставили, а молоко как стояло на окне, так там его и оставили. Первый хлебнул, побежал к молоку, молока прихлебнул. Так все семеро и бегают от стола да к окошку, молоко прихлебывать. Через скамейку с ложками-то перелезают. Облились-то! Ой, Господи.

Евстоля и сама засмеялась.

– Вот дожили пошехонцы до тюки. Ничего нет, ни хлеба, ни табаку. Да и народу-то мало стало, кое примерли, кое медведки в лесу задрали. Видят, совсем дело-то худо. «Робята, ведь умрем», – говорят. «Умрем, ей-богу, умрем, ежели так и дальше дело пойдет», – это другие на ответ. Первый раз все мнения в одну точку сошлись. Стали думать, чего дальше делать, как жить. Одне говорят: «Надо нам начальство хорошее, непьющее. Без хорошего начальства погибнем». Другие говорят: «Надо, мужики, нам репу-то не садить, а садить брюкву. Брюква, она, матушка, нас выручит, она!» Тут Павел говорит: «Нет, мужики, все не дело это, а надо нам по свету идти, свою долю искать. Есть где-то она, наша доля-то». Сказал да и сел. «Должна быть!» – это Мартын говорит, а Федула, тот уснул на собрание. Судили-рядили, постановили пошехонцы идти по белому свету свою пошехонскую долю искать. Сухариков засушили, котомочки справили. А уж и всех к тому времени нешто осталось. Пошли, сердешные, Богу не помолились, уж все одно худо. Шли, шли, поись прибажилось. Толокна было на всех мешок кулевой, а посудешки-то нет, как толокна развести? «Давай, робята, сыпь в озеро да размешивай». Высыпали толокно в озеро да и ну размешивать. «Ну, теперь хлебай». А чего хлебать-то? Хлебать-то и нечего, одна пустая водица. «Видно, – говорят, – надо было больше толокна-то из дому прихватить». Нечего делать, пошли дальше голодные. Шли, шли, надо и про ночлег подумать. Летом кажин кустик ночевать пустит, пристроились пошехонцы на устороньце у леска, котомочки развязали. Пришло время спать ложиться. Вот оне и улеглись все рядышком, один к одному, человек двадцать к тому сроку в живых осталось. Улеглись. А те, которые с краю-то, все времечко соскочат да бегут в серединку. Никто с краю не хочет, – видать, волков боятся. Так и перебегают; только бы уснуть – гляди, опять крайние в середку лезут, а новые крайние уже засыпать начали, вставай да в середку бежи. Странник прохожий с ихней артелью ночевал, вот он и говорит: «Давайте-ко, робятушки, я вас научу, как из положенья выйти, как ночевать, чтобы всем в середке». – «Научи, – говорят, – мы тебе по алтыну дадим». – «А вот, – говорит, – что, робятушки, идите-ка со мной». Подошел странник ближе к лесу, большой муравейник нашел. «Ложитесь, – говорит, – все головами на эту кучу, никого и не будет крайних-то». Довольны мужики, собрали страннику по алтыну, улеглись головами в муравейник. Не стало с краю ни одного, а странник поглядел на их да и лег под сосенкой. Чего дальше было, как пошехонцы ночь ночевали, уж и не знаю, дело давно случилось. Видно, дальше пошли на другой день все искусанные. Идут, идут долю искать, дошли до широкой реки. «Робята, река», – Мартын говорит. «Река», – это Лукьян ему на ответ. Весь на этом и разговор кончился. Опять странник выручил: «Давайте, – говорит, – по гривеннику, научу, как на тот берег попасть». Делать нечего, дали пошехонцы по гривеннику. «Вот берите, – говорит, – бревно.

Да садитесь все на его верхом. А чтобы не утонуть-то, дак вы ноги внизу покрепче свяжите. Есть веревочки-то?» – «Есть, есть!» Рады пошехонцы. Уселись на бревно, ноги внизу связали. Поехали. Только отшатнулись от берега-то, все и перевернулись туточка, да и пошли от их пузыри. Больше половины захлебнулося, вылезли, которые остались-то, да и говорят: «Надо нам этого странника наколотить, это он нас не делу научил». Поглядели, а странника и следок простыл. Ему что, с гривенниками-то. Пошли пошехонцы дальше, совсем их мало осталось, и всего человек шесть. Павел да Мартын, да Лукьян с Федолой, да Таврило с Осипом – вот и вся пошехонская артель. «Робята, – это Осип говорит, – а ежели война? Кто на фронт пойдёт, ежели нас шесть осталось?» – «Наше дело маленькое, – Федола говорит, – да и войны-то еще, может, не будет». Поговорили да опять пошли, опять солнышко к земле пригнелось, опять комарочки запели-запокусывали. Надо ночлег смекать. Еле добрались до подворья-то, устали, родименькие. Стоит постоялый двор у трех дорог, калачами с вином хозяин торгует, сапоги новые, рожа, как самовар, красная. «Это вы, – говорит, – и есть эти пошехонцы-то?» – «Мы, батюшко, мы и есть, долю ищем». – «Ну, ну, – говорит. – Вон ложитесь-ко в дровяник, в чистые залы вас не пушу». Улеглись пошехонцы в дровянике, до того добро на щепочках, захрапели в охотку. Утром вставать надо. Стали вставать, Федола говорит: «У меня ноги не эти, мои ноги вон те». – «Нет, эти мои, – Мартын шумит, – а твои вон те, у меня ноги в новых чеботах были». Лукьян пробудился, заспорил тоже, Осип с Гаврилой шумят, спорят, где чьи ноги, не могут установить. Вышел хозяин: «Что за шум? Почему брань с утра?» Зашумели пошехонцы, друг на дружку начали жаловаться. «Платите по гривне, разберу, где чьи ноги». Это хозяин-то им. Кошели развязали, заплатили по гривеннику, сидя кошельки распечатали, последний гривенник каждый отдал. Хозяин взял оглоблю да как поведет оглоблей-то, не по головам сперва. Второй раз размахнулся, по головам хотел, спрыгнули пошехонцы со щепочек, как ветром сдуло, все ноги сразу нашлись.

Как раз на этом месте скрипнули ворота, и в избу вошла Степановна, Нюшкина мать и двоюродная тетка Ивана Африкановича. Она мельком перекрестилась.

– Здравствуй, Евстолияшка.

– Ой, ой, Степановна, проходи, девка, проходи.

Старухи поцеловались. Гостья развязала шаль, сняла фуфайку.

Евстолия радостно завывставляла пироги, начала ставить самовар, сопровождая все это непрекращающейся речью. Говорила и гостья, они говорили одновременно, словно бы не слушая, но прекрасно понимая друг дружку.

– Вот какво добро, что ты хоть пришла-то, а у меня сегодня уголь из печи выскочил, экой большой уголь, да и кот весь день умывался, да и сорока-то у ворот стрекотала, ну, думаю, к верным гостям, сразу три приметы.

Степановна слушала и тоже успевала говорить:

– А я, матушка, уж давно к вам собиралась-то, а тут, думаю, дай-ко схожу попроведаю.

– Дак какова здоровьем-то?

– И не говори, Евстолияшка, две неделюшки вылежала и печь не могла топить, вот как руки тосковали. Нюшка-то говорит: «Ехала бы в больницу в районную-то», а я говорю: «Полно, девка, чего ехать, никакие порошки не помогут, ежели годы вышли». Вот на печь-то лягу, да на кирпичи, на самые жаркие, руки-то окладу, вроде и полегче станет. Худая стала, худая, Евстолияшка.

– Чего говорить. Вон у нас Катерина тоже все времечко жалуется, все времечко. Парня-то когда принесла, дак велено было на работу-то пока не ходить, а она на другой день и побежала к коровам, позавчера хоть бы родила, а сегодня и побежала.

– Ой, ой, хоть бы нидильку, нидильку...

– Вся-то изломалась, вся, – Евстолия заутирала глаза, – нету у ее живого места, каждое место болит. Я и говорю: «Плюнь ты, девка, на этих коров-то!» А какое плюнь, ежели орава

экая, поить-кормить надо. Гли-ко, Степановна, какая опять беда-то, ведь пятьдесят рублей с лишним заплатили, пятьдесят с лишним, ведь из-за этого она и побежала на ферму-то сразу после родов, уж и Иван-то ей говорил: «Не ходи, поотдохни», – нет, побежала...

– Дак самовары-ти взял?

– Как не взял, взял. И краны Пятак припаял, дак ведь куда нам с самоварами-то? Три самовара теперече. Я уж хохочу. «Давай, – говорю, – открывай чайную в деревне, станови каммерцию».

Евстоля открыла дверку шкапа: в двух отделениях стояли два запаянные Пятаком самовара.

– Добры самовары-ти, – сказала гостя. – А я бы, Евстолюшка, один дак взяла бы, ей-богу.

– Со Христом бери.

– Все и собиралась к вам-то, думаю, и попроведаю и самовар унесу.

– Бери, матушка, бери, и разговаривать нечего.

Старухи уселись чаевничать. Ребенок проснулся в люльке, Евстоля взяла его на руки вместе с одеяльцем.

– Ванюшко ты мой, Ванюшко, выспался у меня, Ванюшко? Выспался, золотой парень, ну-ко, сухо ли у тебя тут? Сухо-то пресухо у Иванушка, ой ты дитятко, светлая свичушка, вон, ну-ко этой-то баушке покажись. Вон, скажи, баушка, я какой!

– Весь-то в дедушка Семена, весь, – сказала Степановна. – А те-то где бегают? В школу-то сколько ходит?

– Ой, и не говори, тут и нагрянут. Анатошка-то уж в шестых, всю неделю в школе и живет, а как придет на выходной, так и заплачет: «Не посылай, – говорит, – бабушка, меня в школу-то, лучше, – говорит, – буду солому возить». Жалко мне, уж так его жалко, с этих годов да в чужих людях, а говорю: «Батюшко, ведь учиться не будешь, дак всю жизнь так зря и проживешь». В понедельник-то рано надо вставать, встанет, пойдет да и заплачет, а я говорю: «Ты уж потерпи, Анатоша, не обижай матку-то, учись».

– От старшей-то, Таньки, ходят письма?

– Как не ходят, вон и вчера письмо пришло, пишет, что, мама, мне напостыло, тоже велика ли, а в чужих людях, ведь уж год скоро, как в няньки отправили, а домой-то охота. Пишет, что прописали, что скоро и паспорт дадут, а потом-то ладит в училище поступать, в строительное, а я-то и говорю Ивану-то, что ехала бы домой, чего по чужой стороне шастать, дак нет, оба с Катериной в голос, пусть, говорят, паспорт получает, чего в колхозе молодым людям?

– А и правда, Евстолюшка.

– Как не правда, только больно девку-то жаль, красное солнышко, поехала-то, дак мне говорит: «Бабушка, я тебе кренделей пошлю...»

– Да с кем уехала-то, с Митькой?

– С Митькой. В отпуск-то приезжал, да и увез, а там место ей нашел, хорошее, люди-то богатые, нарядили ее сразу, два платья ей купили, башмаки, и учиться-то по вечерам велят, а она, красное солнышко, и говорит, что когда уйду, дак и пойду учиться-то, а пока не буду. А ведь как, Степановна, хоть и невелика должность в няньках жить, а все-таки забота, и в магазин ходит, и стирает, и посуду моет, больно уж она у нас совестливая, а люди-то попались ученые, с роялями, да и дома-то мало бывают, он-то все по командировкам, в начальниках, а она, эта, как, всё представленья-то делают?

– Да, поди, в артестах, вроде ряженных, что в Святки ходили.

– Вот, вот, это.

– Дак Митька-то не сулится нонче?

– Как, девушка, не сулится, сулится, беда мне тоже с Митькой-то. Весь измотался, работает по разным местам, да и бабы всё переменные...

Старухам хватило бы разговоров еще на неделю, но тут начали по одному, по два появляться «клиенты» Ивана Африкановича. Первым объявились Мишка с Васькой, и сразу они запросили есть. И Степановна вскоре распрощалась с Евстольей, перевязала самовар полотенцем и пошла домой.

– Приди, Евстольюшка, к нам-то, хоть на ночку приди! – обернулась она еще из сеней. Но она и сама знала, что Евстолья не придет, некуда ей было идти от такой оравы внучат.

3. Утро Ивана Африкановича

Он с детства был раноставом. Бывало, еще покойник дед говаривал голоштанному внуку: «Встанешь раньше, шагнешь дальше». «И правда вся, что толку спать после вторых петухов? Лежать, ухо давить? – так думал Иван Африканович. – Еще належусь. Там лежать времечка хватит, никто уж не разбудит...»

Он еще затемно испилил порядочный штабель еловых дров. Когда обозначилась заря, взял топор, сумку рыбную и пошел к реке, к озеру. Был сильный, крепкий наст. Хоть на танке шпарь по волнистым белым полям, только бы звон пошел. Тетерева впервые, несмело гугоркали во многих местах. «Как допризывники, – подумал Иван Африканович, – глядишь, через недельку разойдутся, разгуляются, все им будет трын-трава, что смерть, что свадьба. Вот ведь как природа устроила».

Солнцем залило всю речную впадину лесной опояски. Иван Африканович постоял с минуту у гумна, полюбовался восходом: «Восходит – каждый день восходит, так все время. Никому не остановить, не осилить...»

Морозный, ничем не пахнувший воздух проникал глубоко в грудь, отчего и дышать было можно редко-редко, а может, можно и совсем не дышать. До того легко, до того просто.

У гуменной стены на снегу Иван Африканович увидел неподвижного воробья. Птичка лежала, подвернув серую головку, и не двигалась. «Жив ли ты, парень? – вслух произнес Иван Африканович. – Вроде замерз начисто». Он взял воробья на теплую ладонь и дыхнул. Воробей сонливо мигнул. «Жив, прохиндей. Только замерз. Замерз, брат, ничего не сделаешь. А может, тебе ворона трепку дала? Аль у кота в лапах побывал? Ну-ко покажи ноги-то». Одна лапка у воробья была крепко втянута в перья, другая была исправна. Иван Африканович положил воробья под фуфайку и надел рукавицы. «Сиди, енвалид. Отогревайся в даровом тепле, а там видно будет. Тоже жить-то охота, никуда не деваешься. Дело привычное. Жись. Везде жись. Под перьями жись, под фуфайкой жись. Женки вон печи затопили, канителяются у шестков – жись. И все добро, все ладно, ладно, что и родился, ладно, что детей народил. Жись, она и есть жись».

Иван Африканович не замечал, что шел по насту все скорее. Он всегда когда размышлял, то незаметно для себя ускорял ходьбу. Опомнится – бежит чуть ли не бегом.

Снег на солнце сверкал и белел всё яростнее, и эта ярость звенела в поющем под ногами насте. Белого, чуть подсиненного неба не было, какое же небо, никакого нет неба. Есть только бескрайняя глубина, нет ей конца-краю, лучше не думать...

Иван Африканович всегда останавливал сам себя, когда думал об этой глубине; остановил и сейчас, взглянул на понятную землю. В километре-полутора стоял неподвижно лесок, просвеченный солнцем. Синий наст, синие тени. А лучше сказать, и нету теней, ни в кустиках, ни на снегу. Игольчатый писк синички сквознячком в уши, – где сидит, попрыгунья, не видно. А, вон охорашивается, на ветке. Тоже тепло чувствует. У речки, нестарый, глубоко, по-ребячьи спит осинник. И, словно румянец на детских щеках, проступает сквозь сон прозрачная, еле заметная зелень коры. Несмелая еще зелень, зыбкая, будто дымок. Крупные, чистые заячьи горо-

шины на чистом же белом снегу, и захочешь побрезговать, да не выйдет. Ничего нечистого нет в заячьих катышках, как и в коричневых стручках ночевавших под снегом тетеревов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.